

ISSN 0012-6756



**Дружба  
народов**

**1/2022**





# В номере:

## На краю

Роман Владимира ЛИМА «Цунами» — о людях на краю земли. В далеком тихоокеанском поселке обречены на замкнутое существование русские, украинцы, прибывшие на Камчатку в 1945 году после разгрома в Корею и скрывающиеся под видом корейцев японцы и один литовец. За душой у каждого — страшное или позорное преступление, отчаяние, обрекающее на бегство — от себя, от общества, от государства. Это роман о суровом, о жестком, о золотом сплаве людских судеб и характеров. Но что есть человеческие чаяния перед лицом слепой стихии, сметающей все на своем пути? Так смела волна времени и великий Советский Союз, в память о котором написан роман.

## «Словно мы сидим вокруг ёлочки»

Мысли о неукротимом течении времени, о вечности...

Лирика Владимира САЛИМОНА, нашего постоянного автора, традиционно открывающего январский номер, напоминает об этом с философской отрешенностью и бесстрашием: «Можно свободно дышать./ Чувствовать остро и тонко./ Вечности принадлежать./ И бесконечности только».

Страстно влюбленный в жизнь поэт Алексей ОСТУДИН настаивает на том, чтобы каждый день был наполнен «до предела, пока не остыла/ наша молодость, взятая в тлен,/ эти слёзы и кровь, как чернила,/ и фонтан из берёзовых вен». Мария БАТОВА дебютирует в «ДН» подборкой верлибров «Рождественский Patchwork».

## Постигая китайскую грамоту

«Меняются ли менталитет и привычки студентов по прибытии в Китай? Скорее да, чем нет. Китай делает нас свободнее. Оказывается, иногда можно себе позволить быть просто человеком, который, набросив на себя первое, что попало под руку, стоит в очереди вместе с китайцами за куриными лапами...» Заметки Анны ВОРОПАЕВОЙ «Это коммунальная, коммунальная квартира!» — живой, полный интересных наблюдений, из первых рук рассказ об образе жизни и мышления, обычаях и взаимодействии студентов из самых разных стран мира, собравшихся в Университете иностранных языков китайского города Далянь.

## Роман об одиночестве, переписка друзей и стихи, похожие на водку

По многолетней традиции в январском номере «ДН» подводит итоги литературного года. На этот раз формат обсуждения изменился.

Мы предложили литературным критикам рассказать о чем-то, так или иначе связанном с литературой: книга, журнальная публикация, проект, разговор с читателями... — что было пережито ими как личное событие.

Константин МИЛЬЧИН: «За 2021 год я прослушал порядка 300 книг и еще примерно 30 книг прочитал традиционным способом».

Евгений АБДУЛЛАЕВ: «В мире, по которому мчится на «Астон Мартине» повествователь со своей полуфантомной Жижы, невозможны уже ни христианство, ни Возрождение...»

Александр ЧАНЦЕВ: «Мой год был посвящен перечитыванию, заполнению лакун, что, кажется, хорошо резонирует с ковидным замедлением мира — собственный темп ты как бы противопоставляешь внешнему».

Наталья ИВАНОВА: «Недавно была в Алматы, в симпатичном на первый взгляд кафе, где внутренняя стена была сделана из бетона со вбитыми в него навеки книгами...»



# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail:** [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru),  
**Сайт журнала:**  
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский  
полиграфический комбинат»,  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;  
[www.oaompk.pf](http://www.oaompk.pf) тел.: (495)745-84-28;  
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.2021.  
Подписано в печать 24.12.2021.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ 1433. Цена свободная.

## *Редакционная коллегия*

*Главный редактор* Сергей  
НАДЕЕВ  
Ольга  
БРЕЙНИНГЕР  
Ирина  
ДОРНИНА

*Ответственный секретарь* Елена  
ЖИРНОВА

*Первый заместитель главного редактора* Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА

Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Заместитель главного редактора* Александр  
СНЕГИРЁВ

## *Редакционный совет*

Мария  
АНУФРИЕВА

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Ольга  
БАЛЛА

Дмитрий  
БИРМАН

Денис  
ГУЦКО

Иван  
ДЗЮБА

Ольга  
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид  
НАГИМ

Илья  
ОДЕГОВ

Кнут  
СКУЕНИЕКС

Сергей  
ФИЛАТОВ

Ренат  
ХАРИС

Вячеслав  
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Владимир САЛИМОН. Словно мы сидим вокруг ёлочки. <i>Стихи</i> .....	<b>3</b>
Владимир ЛИМ. Цунами. <i>Роман в лицах</i> .....	<b>8</b>
Алексей ОСТУДИН. Как в детстве новогодний мандарин. <i>Стихи</i> .....	<b>107</b>
Арсений ГОНЧУКОВ. Он стоит и смотрит. <i>Рассказы</i> .....	<b>110</b>
Евгений СОЛОГУБ. В его пиджаке. <i>Рассказ</i> .....	<b>134</b>
Мария БАТОВА. Рождественский Patchwork. <i>Стихи</i> .....	<b>145</b>
Павел КРУСАНОВ. Как на речке, на ручью. <i>Рассказ</i> .....	<b>148</b>
Илья КОЧЕРГИН. Рыцарь. <i>Рассказ</i> .....	<b>160</b>
Бар-Йосеф ХОМУТАЛЬ. Я нашла его в интернете. <i>Рассказ.</i> <i>С иврита. Перевод Зинаиды Палвановой</i> .....	<b>170</b>
Стефания ДАНИЛОВА. Искусство маленьких шагов. <i>Стихи</i> .....	<b>194</b>

**ПУТЕШЕСТВИЯ**

Александр РЫБИН. Горечь лимонов .....	<b>196</b>
---------------------------------------	------------

**НАЦИЯ И МИР**

Анна ВОРОПАЕВА. «Это коммунальная, коммунальная квартира!» <i>Заметки о студенческой жизни в Китае</i> .....	<b>203</b>
---	------------

**ПУБЛИЦИСТИКА**

Юрий КАГРАМАНОВ. Как не попасть в «ловушку Фукидида» .....	<b>216</b>
--	------------

**КРИТИКА**

«Я хочу рассказать вам...» <i>Литсобытие-2021</i> <i>Личный выбор Евгения АБДУЛЛАЕВА, Николая АЛЕКСАНДРОВА, Марка АМУСИНА,</i> <i>Ольги БУГОСЛАВСКОЙ, Ольги ДЕВШ, Натальи ИВАНОВОЙ, Константина КОМАРОВА,</i> <i>Константина МИЛЬЧИНА, Николая ПОДОСОКОРСКОГО, Валерии ПУСТОВОЙ,</i> <i>Алексея САЛОМАТИНА, Елены САФРОНОВОЙ, Александра ЧАНЦЕВА</i> .....	<b>228</b>
--	------------

**КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ**

Ольга БАЛЛА. Велимир своими глазами ( <i>В.Гандельсман. «Велимирова книга»</i> ) .	<b>248</b>
Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Праздник послушания ( <i>Р.Ярцев. «Нерасторопный</i> <i>праздник»</i> ) .....	<b>252</b>
Сергей ИВКИН. Заочные объятья ( <i>А.Остудин. «Нищенка на торте»</i> ) .....	<b>257</b>
Даниил ЧКОНИЯ. «Пушкинский русский человек» ( <i>В.Мощенко. «Старый фонарь»</i> )	<b>258</b>
Дмитрий АРТИС. Удобное чтение, или Путеводитель ( <i>А.Маркина. «Осветление»</i> )	<b>260</b>

**БИБЛИОНАВТИКА**

Ольга БАЛЛА. Узлы и нити ( <i>А.Скидан. «Лит.ра: Избранные фб-записи»</i> ) .....	<b>263</b>
---	------------

**ПРАВИЛА ИГРЫ**

Борис МИНАЕВ. Этот год.....	<b>267</b>
-----------------------------	------------

<b>Summary</b> .....	<b>272</b>
----------------------	------------

*Владимир Салимон*

## СЛОВНО МЫ СИДИМ ВКРУГ ЁЛОЧКИ

\* \* \*

Словно кто-то за верёвочку  
дёрнул, в доме свет погас,  
но во тьме похож на ёлочку  
на плите горящий газ.

Словно мы сидим вокруг ёлочки  
в Рождество иль в Новый год —  
разодевшийся с иголочки,  
расфуфыренный народ.

Будто мы на представление  
сказки с мамами пришли —  
за кулисой слышно пение,  
огоньки горят вдали.

И проходят вереницею,  
увлекая за собой  
нас идти за Синей птицею  
Хлеб и Сахар голубой.

\* \* \*

На обоях не нимбы златые —  
тёплых, круглых затылков следы.  
Никогда тут не жили святые.  
Жили люди, собаки, коты.

Молодые, красивые люди.  
Мы их будем ещё вспоминать.  
Мы с тобой никогда не забудем  
их походку, их выправку, стать.

---

*Салимон Владимир Иванович* — поэт, автор 25 книг стихов. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001), заместитель главного редактора журнала «Вестник Европы XXI век» (2001—2011). Лауреат Европейской поэтической премии Римской академии (1995), Новой Пушкинской премии (2012) и премии «Венец» (2017) и др. Живёт в Москве. Постоянный автор «Дружбы народов».

Шёпот мамы, чуть слышный во мраке.  
Пишмашинки отцовской трезвон,  
И как райскими птицами флаги  
прилетали чуть свет на балкон.

Трепетали их алые крылья  
на ветру, но, лишь ветер стихал,  
начиналось затишье, бессилье,  
вечным кажущийся интервал.

Проходила минута, другая,  
но казалась та пара минут  
бесконечно длинней, чем трамвая  
вдоль московских бульваров маршрут.

\* \* \*

Лежать с закрытыми глазами  
и представлять себя мальчишкой,  
и думать, что Москва за нами,  
а рай — у мамочки под мышкой.

Связь между нами неразрывна,  
как будто я вернулся в лоно,  
где всё так чудно, всё так дивно,  
и мне рождаться нет резона.

Наверно, так на самом деле  
и есть, и разве не блаженство  
в её зарыться тёплом теле,  
что — красота и совершенство.

А если вовсе не родиться,  
придатком маминым остаться,  
с утра до вечера лениться  
и жизни праздной предаваться?

\* \* \*

Чашки, рюмки, блюда, стопки,  
по приезде в новый дом,  
вынимали из коробки  
мы однажды вечерком.

И заметили не сразу  
за окном в осенней мгле —  
чайник, сахарницу, вазу,  
солнца луч на хрустале.

Словно кто-то шутки ради,  
взяв, расставил по холмам:  
стулья, тумбочки, кровати —  
ни на что не годный хлам.

Что они лишь отраженье  
в стёклах, только лишь лучей  
преломленье, наважденье,  
только образы вещей

мы насилу догадались,  
но, понявши что к чему,  
долго весело смеялись  
безрассудству своему.

\* \* \*

За окном совсем стемнело.  
Отделился свет от тьмы,  
будто бы душа от тела,  
на день взяв его взаймы.

Мёртвым сном в своей постели  
тело спит во тьме ночной,  
в этом старом, бренном теле  
нет нужды ей никакой.

Сил полна, свежа, беспечна  
и чудесно хороша —  
всё б тебе кружиться вечно,  
петь, плясать, моя душа!

\* \* \*

Между досками в заборе  
видишь узенький просвет,  
ощущаешь близость моря  
там, где моря вовсе нет.

И тому виной не чайки,  
что кружатся над тобой,  
что крича, как попрошайки,  
вслед тебе летят гурьбой.

Можно думать, что причина  
в том, что *за* нос водит нас

всяческая чертовщина  
или это — чей-то сглаз,

или ты на самом деле  
малость двинулся умом:  
так тебя достать сумели  
все цветы в саду твоём.

Как садовника, что спину  
гнул, здоровья не щадил,  
превращая в землю глину,  
а потом — свой дом спалил.

\* \* \*

Шляпа, плащ до пят ментовский.  
Длинный, тощий старый дед —  
ты смешон, как Циолковский,  
оседлав велосипед.

Развевает ветер полы.  
Грязь. Беспутье.  
Как назло,  
лучше б были мы бесполы:  
ударяет в пах седло.

На мгновенье от удара  
выпускаешь руль из рук.  
Выпускаешь струйку пара.  
Издаёшь протяжный звук.

Ты, конечно, сумасшедший,  
псих, на голову больной,  
места в жизни не нашедший,  
зачарованный Луной.

Ты летишь, раскинув руки.  
В космос. К звёздам.  
Путь далёк.  
Ты везде — в Москве, в Калуге  
бесконечно одинок.

\* \* \*

Острее перемену погоды  
стал чувствовать и понимать,  
что, кроме как личной свободы,  
мне нечего больше терять.

По счастью, пока ещё в праве  
я распоряжаться собой  
и не поддаваться халяве,  
и не обольщаться судьбой.

Теперь мне не стыдно нисколько,  
что думаю я, как солдат,  
о прелестях жизни и только,  
когда рядом пули свистят.

А не о грядущей победе,  
о смерти в неравном бою,  
о схватке с врагом на рассвете,  
где я пулю-дуру словлю.

\* \* \*

День короче. Солнце ниже.  
Говорить мы стали тише,  
как когда-то — шепотком —  
в доме с низким потолком.

Не из страха, что услышат  
нас соседи за стеной,  
что они на нас напишут,  
просто голос сам собой

вдруг становится негромким  
в стенах тесных,  
хрупким, ломким,  
словно комнатный цветок, —  
прежде звонкий голосок.



\* \* \*

Зябко,  
но я приоткрыл  
створку оконную, чтобы  
лёгкий морозец убил  
лености нашей микробы.

Воздух осенний был свеж.  
Скорой пахнуло зимою,  
где-то блуждающей меж  
Серпуховом и Москвою.

Кажется, на холодке  
сжались пространство и время —  
можно пожить налегке,  
сбросить их тяжкое бремя.

Можно свободно дышать.  
Чувствовать остро и тонко.  
Вечности принадлежать.  
И бесконечности только.

\* \* \*

Я границы нашей жизни  
захотел раздвинуть, словно  
тесно стало мне в отчизне  
нынче ночью.

В полночь ровно  
распахнул я занавески —  
шла гроза, вдали зарницы  
так сверкали, что по-детски  
с кем-нибудь мне поделиться  
захотелось

этим счастьем,  
этим чудом, этим миром,  
этим сказочным ненастьем:  
изумрудом и сапфиром.

Чтоб мы стали чуть богаче,  
чуть счастливей, чуть добрее,  
стали жить совсем иначе  
и глядели веселее.

*Владимир Лим*

## Цунами

*Роман в лицах*

Действующие и противодействующие лица:  
Жители тихоокеанского побережья СССР.

### *1. Кореец*

*(4 ноября 1952 года, Камчатка, районный отдел МГБ)*

Это был уже не страх, а маята...

После трёхчасового сидения под дверью, обитой гладкой алой кожей, зверь в Корейце<sup>1</sup> обмяк, склонив полосатую морду на тяжелые лапы. Острые узкие, как ножи, когти уже не впивались в его душу, а лишь покалывали её мерцающую возбужденную плоть...

Этот Тигр, убивший женщину на окраине приграничной деревни у него на глазах, давно стал предвестником несчастья... Всякий раз, когда ему грозила опасность, Тигр являлся, в прыжке хватая несчастную, склонившуюся над ручьём... Терзая её нежную грудь, дряхлеющий людоед предостерегающе смотрел своими рыжими немигающими глазами...

Нет, сегодня его не арестуют, как шесть лет назад. Если оставили одного в коридоре и разрешили курить, — не бросят в бетонную камеру, не будут хватать за воротник, брызжа в лицо слюной, не отправят в смертельно холодный лагерный ад, в якутскую или колымскую Сибирь...

Но почему эти три часа Тигр неотступно преследует его?

Перед опущенной головой Корейца возникли яловые сапоги, плотно охватывавшие тяжёлые икры, синие галифе. Нарядный китель, расстёгнутый у ворота, начищенные мелом пуговицы. Та же хрупкая челюсть с ярким шрамом на подбородке... Это был Лейтенант, уже утративший свою юношескую нервную тонкость, вошедший в тело,

---

*Лим Владимир Ильич* — прозаик, журналист, окончил Литературный институт, семинар Ю.В.Трифоновой, работал в «Комсомольской правде». Автор книги «Горсть океана» (2016). Живет на Камчатке.

Публикации в «Дружбе народов»: рассказ «Бухта Русская» (2019, № 9); рассказ «Зеркало» (2020, № 9).

<sup>1</sup> В приморских камчатских посёлках до 80—90-х годов прошлого столетия были распространены тюремные обычаи, а прозвище — «погоняло» — давали всем, за исключением особо уважаемых людей, которых именовали по отчеству: Ильич, Петрович...

с равнодушной казённой улыбкой, и на плечах у него были новенькие, сияющие золотым шитьём майорские погоны...

Они узнали друг друга, но как бы заново познакомились, примеривались.

— Конничева, миста Симагаки, — сказал Лейтенант. — Я Владимир Миленский, если не забыли...

— Как же, забудешь, — добродушно отозвался Кореец. — А вот вы забыли, мой не Симагаки, мой — Тсой...

— Знаем-знаем, какой вы Цой... — усмехнулся Лейтенант и показал подбородком на раскрытую дверь кабинета.

В кабинете, усевшись за столом и перелистнув раскрытые на старом траченном зелёном сукне бумаги, он продолжил как-то отстраненно:

— Так и косишь под корейца?

— Мой — Тсой... — Кореец осторожно придвинул к нему свой зелёный вид на жительство.

— Ну ты наглый, — усмехнулся Лейтенант.

Кореец непроизвольно кивнул.

— Хватит! — рявкнул вдруг Лейтенант. — Нам известно, что вы, г о с п о д и н Симагаки, японский офицер, командир карательного отряда, скрываетесь в России от международного суда...

— Мой — Тсой, мой сирота... — мягко возразил Кореец, преодолевая мгновенно возникшую сухость во рту.

— Да будет тебе язык коверкать, ты же отлично по-русски говоришь, — Миленский расслабился, слегка улыбнулся и встал из-за стола.

Кореец с удивлением обнаружил, что они почти одного роста, ему Миленский помнился очень высоким.

— Ну что, поедешь в Японию? — совсем дружелюбно и с удовольствием спросил Лейтенант по-корейски. Тигр приподнял голову: настораживала корейская правильная речь из уст этого русского офицера, как будто в нём затаился предательски и заговорил кто-то другой, с грозным чёрным прищуром, прозорливый... — Там тебе пенсию военную дадут, — Лейтенант хихикнул. — А в Корею? Там дорогой вождь, товарищ Ким Ир Сен, наш союзник, всех на войну собирает... А ты здесь остаться хочешь... понимаю... — Миленский рассеянно перелистнул бумаги, как будто искал в них что-то, утерянное давно и неизвестно где. — Как мадам? Скоро рожать? — офицер перешел на русский, поднял голову и многозначительно улыбнулся.

Зверь вновь шевельнулся, ударил длинным полосатым хвостом...

— Ладно-ладно, у начальства другое мнение, — Миленский успокаивающе приподнял руку. — Я уполномочен объявить вам, товарищ Цой, что мы решили поддержать вашу просьбу о принятии гражданства СССР. Поздравляю, — Лейтенант взял руку Корейца и сжал двумя ладонями, по корейскому обычаю, уважительно, и добавил вполголоса, но внушительно: — Мы помним вашу добровольную помощь, оказанную нашему правительству.

Он слегка приобнял Корейца. От офицера мягко пахло «Шипром».

Поселили Корейца в общежитии МТС в комнате на четверых; соседи, небритые трактористы, с голыми белыми торсами, невыносимо пахнущие потом, в замасленных штанах и кирзачах, приняли его за своего, русского, не стали втягивать в пьяные разговоры; идти пешком в поселок Миленский ему запретил, пропуск подписал завтрашним числом — переправу уже закрыли, самоходная баржа через Летовку отправится только в семь тридцать утра, к этому времени поедет хлебовозка, она и подвезёт до дома. Кореец мог бы послушаться Миленского, дойти до реки, переплыть её и уже по косе, вдоль лимана, добраться до посёлка, но у него ещё не было гражданства, вход, как и выход из Зоны, без разрешения ему запрещён, и его мог задержать пограничный патруль.



Три часа, проведённые в коридоре районного отдела госбезопасности, может быть, спасли его, но изменили всю жизнь, лишили смысла...

*5 ноября, 5 часов утра*

Кореец долго не мог уснуть, ворочался под храп трактористов на голой панцирной сетке, отказавшись от ватного матраца, прожжённого, в старых пятнах крови и мочи. В ушах стоял тигриный глубокий рык, сотрясавший кедровый лес над каскадами горного ручья.

Он всегда скучал по своей молодой нежной жене, а теперь, когда она была на седьмом месяце, он скучал особенно сильно, боялся, ведь у неё уже был выкидыш, и она чуть не умерла от потери крови, её спасла Сатико, старшая сестра и хирургическая медсестра.

Он знал, что и жена скучает по нему, смотрит в окно из-за занавески, сшитой ею по русскому обычаю, и он видел сквозь чистое мытое стекло её нежные высокие скулы, затуманенные грустью глаза...

Его разбудил тревожный одинокий крик за окном, топот быстрых шагов в коридоре. Захватанный общим движением, он выбежал на площадь, где возле большой бронзовой лысой головы вождя собирались люди, выкрикивая на все лады одно слово: «Цунами! Цунами?»

Кореец, не останавливаясь, свернул на дорогу в посёлок, глинистую, разбитую, мокрую и скользкую, в четыре переплетающиеся глубокие колеи. И каждый раз, когда он, не удержавшись, падал на вытянутые руки в грязь, кричал кому-то по-японски: «Синами! Синами!»

Мимо косо прополз, зацепившись передним колесом за бруствер, «газик», резко затормозил, высунулся Миленький, сердито-призывно замахал руками.

Волна остановилась вдоль кривого края облетевшего берёзового леса, к нему, как к берегу, принесло мусор, мёртвых крыс, обломки досок, бревна, тряпьё и даже, в отдалении, старую самоходку. Мусор лежал длинным многокилометровым извилистым бруствером, и вдоль него ходила, отступая, закручиваясь, омывая зелёную ещё траву, помутневшая океанская солёная вода.

Из старицы, от Руси — хутора староверов, поднятого на плоскую сопочку, — спустились по реке в лиман несколько деревянных лодок, их догоняли моторки из райцентра и узкие баты<sup>1</sup> с темнолицыми рослыми ительменами, стоя размахивающими длинными шестами.

Увидев военных, дружно, один за другим, приткнулись к затопленной дороге. Миленький посадил к ним по солдату и велел идти к поселку цепью.

Кореец, не спрашивая, торопливо запрыгнул в лодку к рыжебородому лысому мужику в заштопанном чистом пиджачке, тот кивнул и, сильно окая, велел солдату, не успевшему сесть к нему, посильнее оттолкнуть лодку.

Миленький перекрыл дорогу своим «газиком», выставил оцепление из вооружённых автоматами солдат-краснопогонников. Видно было, что он обучен командовать большим количеством людей.

Кореец заметил сначала женщину, то и дело исчезающую под водой, а потом и плывущую рядом с ней дверь от своего дома, которую он узнал по траченной молью пятнистой нерпичьей шкуре. Пока лодка по инерции шла к женщине, она снова исчезла, и хотя он знал, что это не жена, продолжал видеть в ней Марико; обмирая от этого противоречивого, захватившего его чувства, стянул с себя телогрейку, чтобы броситься за ней, но она появилась уже в полуметре от борта, Кореец быстро захватил

<sup>1</sup> Баты — выдолбленные из тополя лёгкие скоростные лодки.

пятерней её плывущие чёрным зонтом длинные волосы и подтянул к лодке. Женщина прижимала к себе мальчика. Бородатый подхватил её под мышки и втащил в лодку. Кореец освободил бездыханного ребенка от мокрого одеяла и встряхнул за ноги с криком: «Витя!» Мальчик фыркнул и тотчас же тихо жалобно заплакал. Бородатый продолжал тормошить женщину, наконец она задергалась, изо рта выплеснулась вода. Кореец прижал к себе завёрнутого в телогрейку ребёнка. «Где Марико?!» — закричал он женщине. Это была Сатико, по-русски Тамара, старшая сестра жены, она всегда ночевала у них, когда он уезжал.

Кореец почувствовал холод и пустоту в груди: там, где всегда была Марико, Маша, теперь ничего не было. «Где она?!» — кричал он, но Сатико только молча мотала головой.

Кореец, не поднимаясь с колен, подскочил к хозяину лодки и закричал, показывая на залитый наполовину посёлок: «Там моя жена! Моя беременная жена!»

К ним плыли, барахтаясь, толкая перед собой доски, один за другим несколько человек, кричали слабеющими голосами, поднимали руки. Марико среди них не было, да и не могло быть — она не умела плавать.

Из устья на полном ходу шёл к поселку МРС, глубоко распахивая лиман, призывно трубя и изрыгая жирный чёрный дым.

Для Корейца не было ни знакомых, ни друзей — он не видел, не узнавал лиц. Помогая бородатому втаскивать в лодку тонущих, молча обливался произвольными слезами, сначала тихо, потом стал причитать: «Моя жена, моя беременная жена...» — и наконец, когда перегруженная лодка осторожно направилась к косе, к высокому костру, к плачущим, кричащим и идущим навстречу по затопленной улице мокрым людям, он, не увидев среди них Марико, откровенно зарыдал от беспомощности и одиночества, прижимая к груди ребёнка: «Моя бедная жена... моя бедная беременная жена...»

Его маленький, но крепкий дом из местного обожжённого кирпича, побелённый весной Марико, стоял на речном низком берегу почти по самую крышу в воде.

Кореец нашел Марико под окном, одетую в тёплую зелёную кофту, как будто она до последнего мгновения ждала его, выглядывая из-за занавески. Она ждала, держалась за их дом до последнего вздоха, не дала волне вынести в этот чужой дикий враждебный мир, где он никогда бы не нашёл её.

Едва он коснулся Марико, подсунув руки под спину, она сразу всплыла, как будто ждала этого прикосновения; рот её, глаза и волосы были забиты чёрным океанским песком.

«Почему тебя не было рядом? Почему ты оставил её?» — горько вопрошал он сам себя.

Их навеки разделили три часа в коридоре районного отдела МГБ.

Цунами пришло не с востока, не со стороны Америки, а с юга, от Северных Курил; две волны, одна за другой с интервалом в двадцать пять минут бодро пробежали вдоль берега, дважды задев посёлок левым крылом — уже вполсилы, как будто только пугая, обещая вернуться и довести своё весёлое дело до конца: выбили стекла, кое-где и двери, вышвырнули спящих людей из тёплых постелей и выплеснули их из домов.

Волны, затухая, ушли на север, но дома на Речной улице стояли в воде несколько дней.

Марико и её младшую сестру, как и всех пятерых утонувших и умерших от переохлаждения, хоронили местком и государство по революционному обычаю: в гробах, обшитых красным сатином, без оборок и складок. Сколько человек пропало без вести, никто не говорил.

На похоронах Кореец пытался вырвать торчавший из края братской могилы кусок ржавой арматуры, ему казалось, что этот уродливый прут может стать препятствием в последнем путешествии Марико и её сестры. Он не прекращал своих

молчаливых попыток, задерживая церемонию похорон, пока кто-то из слесарей не принес ножовку по металлу.

Кореец, тяжело дыша, подошёл к гробу жены, лицо его, мокрое, было безучастным. Он не проронил ни слова — даже после того, как его спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать. Кореец ничего не слышал, даже неуместного визга пилы. Он непрестанно, до судороги в горле, думал о младенце, задыхающемся в утробе мёртвой матери...

Цена, которую он заплатил за свою жалкую, выпрошенную у судьбы свободу, была непомерной для него. И, знал он, не окончательной.

## Двадцать лет спустя

### 2. Мальчиш (Предсказание и «крещение»)

Это случилось в общей бане, в начале предновогодней недели, когда отец, не предупредив, опрокинул ему на голову полный тазик воды. Мальчиш чуть не захлебнулся, перехватило дыхание, и вдруг из-за широкой пелены воды явилась бабушка, она стояла близко, он слышал душный густой запах нафталина, видел седину в пышных, примятых на затылке волосах, мелкие волны морщин на нежной коже и серые сухие глаза. «Потоп после Рождества... потоп после Рождества...» — дважды сказала она и... исчезла.

Мальчиш, испугавшись её и одновременно разгораясь от обиды на отца, закричал пронзительно: «А вот будет потоп после Рождества! И все утонут!»

В бане стало тихо, только журчала под трапиком стекавшая мыльная вода. Кто-то, набиравший воду в тазик, перекрыл шумную струю. А кто-то в серой войлочной шляпе так и замер в дверях парилки с берёзовым веником в тазу.

Все смотрели на Мальчиша.

Ему ещё не исполнилось двенадцати, но он был человеком популярным в посёлке, особенно среди женского населения; нельзя сказать, что его любили, — люди тянулись к нему, но при этом побаивались. Он был отделён от детской толпы, но не причислен к взрослым и находился в категории людей без возраста и пола, чудаковатых, необычных, вроде весёлого юродивого вахтёра Яшки, сумасшедшей несговорчивой Дё и глухонемого красивого сирийца — сапожника Рустамчика.

Бог отнял у Мальчиша мать ещё в младенчестве, но дал ангельскую внешность и дар находить спрятанные вещи. Ещё, говорили с опаской в тесном семейном кругу, Мальчишу известно время смерти почти каждого в поселке.

«Кто сказал?» — спросил отец, присев перед ним на мыльную широкую лавочку.

«Его бабушка!» — также испуганно и сердито прокричал Мальчиш, показывая на человека в «императорской» войлочной шляпе.

И хотя человека прикрывали клубы горячего тумана, все знали, что это хозяин посёлка и директор рыбокомбината Сан Саныч Пушкин.

Директор вдруг приблизился к ним, присел на корточки перед Мальчишом, привлёк его к своей горячей мокрой волосатой груди и сказал, как бы косвенно соглашаясь: «Милый ты наш, мама умерла сегодня утром».

Мальчиш не знал, слёзы на глазах Сан Саныча или вода. Странно, но в глазах отца тоже появилась дрожащая влага.

«Я не милый!» — вновь прокричал Мальчиш, пытаясь освободиться из объятий, но Сан Саныч отпустил его не сразу и, показалось Мальчишу, при этом коротко всхлипнул.

Вот так, из бани, и пошло гулять по Побережью произвольное пророчество



*Алексей Остудин*

## Как в детстве новогодний мандарин

### *Только так*

Друг другу тополя бросают в личку  
клеёнчатые листья свысока,  
я не курю — дурацкая привычка,  
но понимаю прелесть табака,

последнее тепло дожди пожрали,  
повсюду воздух, скрученный в узлы,  
и ноет непогода в каждом шраме,  
и в градусники спирт не завезли,

на месте солнца выцветшая клякса,  
зато вчера, порвав телеканал,  
синоптик вислоусый мамой клялся  
и зуб на отсечение давал,

обрило небо облако-тупица,  
а нам вчерашний завтрак подавай —  
как школьникам, чернилами делиться,  
давиться, разевая каравай,

надёжно перепрятанное тратим,  
начальство на зарплату не Щедрин,  
пар Горького нам сладок и приятен,  
как в детстве новогодний мандарин,

на честном слове держимся, пугливы,  
Пирке переживая и Манту, —  
реакция на мрачность перспективы  
не оставляет привкуса во рту,

пусть заграница пялится с усмешкой,  
тебе чужое счастье не указ —  
укачивай с продуктами тележку,  
пока не развиднеется у касс.

---

*Остудин Алексей Игоревич* — поэт. Родился в 1961 году в Казани. В 1985—1990 гг. учился на филологическом факультете Казанского университета. В 1993 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького. Активно публикуется с 1978 года. Автор десяти книг стихотворений. Лауреат литературных премий: имени Фазиля Искандера (2019), имени Аксакова (2020) и др. Живёт и работает в Казани.

### *Влюблённые и большеротые*

Я тебя целоваться заставил,  
наплевав на Вселенский застой,  
в тишине, за Рогожской заставой,  
заметённой сиренью густой,

где кометы в оранжевой коме  
вспоминают былую лафу,  
как засохшие стружки моркови  
под подолом у тёрки в шкафу,

где на резкость оптической пары  
не наводится линза луны,  
и, сплетённые, словно кальмары,  
мы скользить по прилавку вольны

до предела, пока не остыла  
наша молодость, взятая в тлен,  
эти слёзы и кровь, как чернила,  
и фонтан из берёзовых вен,

в разнотравье цветущих и прочих  
обречённо крадутся сюда  
прикусивший язык колокольчик,  
затвердившая «да» резеда,

пусть последних тюльпанов горелки  
разевают пунцовые рты,  
поиграем с природой в гляделки,  
не стесняясь своей наготы.

### *Назад в будущее*

Подстаканникам звонко от ложек,  
просвистели весну поезда,  
вот и женщина, или моложе,  
так и стелется рифмой сюда —

из разряда потерянных катек  
торговавших в обозе едой,  
если пиво с портвейном не катит,  
чистый спирт разбавляет водой,

словно мухи, друзья ошалели,  
каждый враг — сам себе санитар,  
ей бы пятой бутылку «Шанели»,  
а не «Красной Москвы» скипидар,

божье слово остыло как будто,  
небольшой поворот позвонка  
превращает людей в сухофрукты,  
подобревших к своим сорока,

это время не требует веры,  
осыпаемся с места в карьер,  
где дымится тряпьё блогосферы  
под названием СССР,

у нужды каждый прыщ на примете,  
каждый возглас в объятых бухих,  
от тревоги рождаются дети  
за дальнейшее прошлое их,

за обманутых предков в обиде,  
отрубая хвосты паханам, —  
мы ещё поживём и увидим,  
что когда-то мершилось нам.

## На досуге

Яичница стоит на колбасе,  
гранёный эль соскучился по вобле,  
приёмник объявляет: полба, сэр, —  
простукивая полдень в новой колбе,

раздухарился в сквере птичий хор,  
черёмуха раздвинула колени,  
пульсирует трёхглазый светофор,  
распятый перекрёстным опылением,

цветущее аптечество моё,  
сограждане, страдающие гриппом, —  
летит его хрустальное копьё  
и пробивает лёгкие со скрипом,

но, чтоб не выпадало из штанин,  
дышалось глубоко, как дыркам в сыре,  
мне полирует кровь серотонин,  
когда недобрый ангел с неба зырит,

пора проблемы выстроить рядком,  
в число попасть по харе твари всякой,  
где, отпиваясь кислым молоком,  
туманный Альбион привит овсянкой,

и, в телогрейке запад-наперёд,  
в соперника бросать за шапкой шапку,  
который их, конечно, подберёт  
и в секунд-хенд отправит всю охапку.

## Период полураспада

Возвратясь домой со службы, день минувший подытожь,  
вдоль по улице Подлужной языком процокал дождь,  
разбросал по лужам сушки, дёрнул месяц за серьгу,  
где вы, девушки-подвухе, дозвониться не могу,

воробьём скачу проворно в птичнике глухих тетерь,  
лучше некогда, чем порно, лучше поздно, чем теперь,  
то ли дело, после баньки, с первым снегом на паях,  
выпив с горя, таньку-встаньку извалял бы в сухарях,

жадным взором воздух плавя, дышишь счастьем игрока —  
скорость мысли гасит пламя оптимизма, а пока  
понимаешь, скоро в космос запускать бомжей начнём,  
и очередная косность нашу палубу качнёт,

слышишь, бас глухой и сиплый — об обценном и святом  
говорит и крошки сыплет облако с набитым ртом, —  
потакая этой школе, перед тем, как стать травой,  
будь здоров и неугоден роще сосен строевой.



*Арсений Гончуков*

## Он стоит и смотрит

*Рассказы*

### *Из сна*

*Все персонажи и события реальны, все имена изменены*

Из сна...

Из сна...

Из сна...

С этим, всегда одним и тем же, комментарием, как будто с шепотом крайнего изумления, репостил в фейсбуке душераздирающие новости о происходящем в стране актер Тимофей.

Заголовки вскрикивали от боли: «Это акт государственного террора, цель которого запугать всех!», «Россию охватывают лютые политические заморозки!», «Окончательная деградация власти!», «Диктатура превращается в тиранию!»

Тиша искренне переживал от любых, мнимых или явных, угроз, верил непроверенным «вбросам» и политическому спаму, — страшно пуча глаза, хватая губами воздух, повторял, что «мы пробили очередное дно». Я видел это, когда он обсуждал новости с коллегами-актерами в перерывах на съемках: он топал ногой и с трогательным негодованием своим высоковатым, подрагивающим, будто вечно ломающимся голосом выкрикивал тот или иной лозунг, впрочем, без ярости и злобы. В его подвижной психике уживались импульсивная истеричность, доброжелательная интеллигентность и легкость характера.

Тиша мужик был высокий, костистый, худощавый, с глубокими, чуть не до макушки залысинами, теснящими слабую от природы пушистую светлую порось. Открытый взгляд, большие светло-голубые глаза, чуть вытянутое, с узким подбородком, бледное, часто красноватое лицо, маленькая для его роста голова. Мне казалось, у него собирательная внешность старого доброго советского актера, простодушного лысоватого соседа по лестничной площадке. При этом Тиша был улыбчивый, приятный и увлекающийся — с ним мы обсуждали самые тонкие творческие аспекты игры как

---

*Гончуков Арсений Михайлович* — писатель, поэт, режиссер, продюсер. Родился в Нижнем Новгороде в 1979 году. Окончил университет по специальности «Филология» и Школу кино при Высшей школе экономики. Лауреат, обладатель наград российских и мировых кинофестивалей. Автор двух книг, в том числе поэтического сборника «Отчаянное рождество» (2003). Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 3.

с профессионалом, служившим в известном московском театре. Тиша не был женат, кажется, у него не числилось даже подруги, а из родственников за ним, говорили, маячил влиятельный брат, бизнесмен и ростовский чиновник с большим семейством. Злопыхатели утверждали, что благодаря ему театр выделил Тише квартиру, что по московским меркам небывалая роскошь, но друзья защищали: во-первых, иногородний, во-вторых, такого таланта и трудоголика еще поискать. Плюс к тому главные роли.

Однажды на съемочную площадку Тиша приехал с крошечной, жалкой, трясущейся от ужаса собственного существования собачкой на руках, из которой во все стороны торчали лапы, уши, крабьи глазки, звонкий игрушечный лай, а Тиша все это собирал, чтоб не выпрыгнуло, успокаивал, гладил... Горбясь и смущаясь, он отвел режиссера в сторону и просительно зашептал: как бы так устроить, чтобы сниматься ему в эпизоде вместе с собачкой, потому что дома оставить не с кем, а здесь отдавать ее помощникам он боится... Режиссер хохотнул, и собаку заперли в туалете. Тиша играл в небольшом кросс-эпизоде призрака убийцы, который пришел из предыдущего эпизода сериала (то есть подразумевалось, что он каким-то образом за пределами прошлого умер).

Там у него была главная роль. Он сделал идеального злодея. Неприметного, жуткого в своей обыденности, а потому достоверного. Вместо души его персонажа в какой-то момент зритель (но сначала — съемочная группа) увидел пугающую мрачную бездну, на дне которой остро поблескивал звенящий колокольчик безумия. Злодей был — мент, у которого погибла под колесами пьяной сволочи жена, и полицейский не мог ни найти виновника ДТП, ни смириться. И вот однажды ночью, хорошенько нагрузившись на детской площадке под скрип одиноких качелей водкой, он угрюмо нетвердым шагом побрел в свою одинокую двушку, но вдруг увидел, как здесь же, за домом, подходит к машине, в которой хрип музыки дерет динамики, и лезет за руль невменяемо пьяный мужик. Мент остановился. Окрикнул пьяного. Встали — глаза в глаза. Одни — мутные, с белым ядовитым дымком, другие — острые напряженные осколки стекла. Не глядя мент потянулся к кобуре. Водитель даже не шелохнулся. Мент достал невидимого в темноте Макара. Поднял тяжело на прямой руке в карающем жесте, как это показывают в голливудских боевиках. Сократилась маленькая мышца пальца.

Тема съехавшего с катушек и устроившего расправу над мирными людьми полицейского — в последние пару десятилетий излюбленная у режиссеров авторского кино. Мент-убийца, мент-наильник, мент-некрофил. Безотказный прием, мощный усилитель вкуса для любого фильма. Но, к сожалению, и российская действительность. Тише персонаж был близок.

— Так, Тимофей Палыч, тут, слушай, давай вот что постараемся сделать... Силу и тяжесть дадим, но — при расслабленности. Плотность, вес, мощь, а снаружи вялость, неуправляемость даже, и камень внутри, холод, — понимаешь, о чем я? — режиссер размахивал руками, топоришил плечи. С квадратным пузиком, похожий на молодого крепко сбитого хряка с быстрыми умными глазами, он возвышался над лавкой, где сидел в черной полицейской форме Тимофей, внимательно изучая текст и одновременно воспринимая бурные попытки объяснить ему *зерно роли* и донести *свое видение*.

— Вот да, да... — продолжал режиссер. — Тяжесть, некий чугун внутри, мучительный, мрачный, а снаружи плохой контроль, расхлябанность даже, и будет сложно и страшно, да, неоднозначно будет... Понимаешь? Это надо схватить, сделать, Тиша... — И режиссер утыкался в бумаги с текстом сценария, который сам и писал, но как будто только что увидел там что-то, чего раньше не замечал. — И вот еще что. Старик. Тебе все-таки нужно быть... Ну как сказать? Побрутальнее. Чуть. Ты тонковат. Жидковат. Трепещешь. Чувствительный весь... Грубее.

— Больше мужского... мужественного дать?

Это было ровно то, что хотел, но не решался сказать режиссер, — не дай бог перед мотором обидеть, «закрыть» артиста...

— Да, старина, да, именно, потому что, ну как тебе сказать... И голос у тебя как бы для этой роли высоковат, это, конечно, тоже фишка, ну, такой мент, артистичный как бы, вот эта истерика в тебе, она изнутри подспудно взвинчивается, растет, лезет — это очень хорошо работает... Но я думаю, заострять уже здесь — ни в коем случае, и даже чуть приглушить, дать басов в роль, хотя тоже не перестараться, не гудеть и не пыжиться... Понимаешь?

Теперь Тиша очень внимательно смотрел снизу вверх, белесыми и будто светящимися в темноте глазами, подняв острый два дня специально не бритый подбородок. В эти мгновения он не видел ни себя, ни режиссера, ни еще двадцать человек за камерой на ночной съемочной площадке, он был чистый приемник того, что втолковывают ему, он, как хороший ученик на уроке истории, полностью ушел в слух и фантазию и был сейчас где-то в горящем Новгороде, где спускают и лишают языка вечевой колокол.

— Понял я, что ты имеешь в виду... — закусил губу Тиша.

— Так вот... Да... Ну и отлично... Вот смотри. То есть... Вот здесь ты сидишь, вот тут... Нет, нет, не туда! — Режиссер махал руками, когда исполнительный Тиша вскакивал и пытался сесть на спинку лавки. — Не пачкай! Там — нет! У нас камера здесь, на этом уровне. Сиди, сиди... Вот, вот, и чуть плечи вперед, чтобы тяжелее, нет, стоп, я не буду ничего тебе говорить, давай сам, сам, я даю направление, характер даю, а как — ищи сам. Вот. Чуть жестче. Строже. Чуть вниз. Внутри тебя — гиря, тяжесть, беда. Не разматывай реплики, не сопливь. Ёмче, жёстче, точнее! Нет, голос ниже не надо, это уже дешево, уже комедь... Да. Нет. Просто внутрь, за пазуху, положи камень. Несколько. Жена. Любил. Сбили. Ночь. Бухой. И пойми, старик, ты можешь что угодно сделать... Вот с ним, с ней, со мной, взять и, как цыплятам, шеи поворачивать... У тебя ствол. Ты мент. Ты всесилен. Ночь. Боль. Ты — один. И тьма. Но не кричи. Внутри, все внутри. Тяжесть и внутри. Сила. И боль. Хорошо? Тимофей Палыч, ты понял?

— Да, да, понял! Отлично. Очень помог, Сень! Давай пробовать? Мы как, можем?

— Звук? — оборачивался режиссер мощным торсом так, что стоящий сзади с длинной удочкой «звук» шархался, чтоб не снесли... — Ага, вижу. Вася, ты как?

— Делается, пять минут... — отвечал оператор, копясь с механиком в креплении камеры на штативе, будто силясь выдернуть зуб из металлической челюсти.

— Десять минут готовность, группа, и пробуем! — кричал режиссер.

— Надеюсь, репетиция? — флегматично интересовался звук.

— Да, да! Ре-пе-тируем! Готовимся! Тиша, только не в полную силу давай, просто прогоним по репликам и состояниям, хорошо? Чтобы понять, нащупать, окей? Все, отлично, отдыхаем пока. Девочки, кофе есть? Нет, мне. Актеру не надо пока, пусть готовится.

И режиссер отходил, чтобы не мешать, чтобы актер проработал актерскую задачу, поймал что-то нужное внутри. Снимали сцену во дворе жилого дома, на детской площадке. Ночь, сухая ранняя осень, вырезанные из золотой бумаги листья кленов, льющие на них жирный, как топленое масло, желтый свет фонари, удвоенное сияющее желтое теснит заполняющую все вокруг тьму и льет зловещую желчь на тех, кто внизу — дышит, шаркает, хрустит стаканчиками, пьет, вскрикивает, не в силах угмонить говорящую боль. Черная форма полицейского, растворенная в глубоководной тьме, матовое, будто светящееся изнутри, восковое лицо, горящая, источающая пушистые блики — специально подсвеченная оператором — бутылка с алмазной водкой. Ломкие неверные пластиковые стаканчики. Перепуганный местный алкаш, с которым по сценарию пьет мент, — слишком ухоженный актер еще одного столичного театра. В воздухе растворена угроза, русская мрачная воля, смесь



безысходности и непредсказуемости — ею напитывается актер, ее чувствуют режиссер и вся притихшая съемочная группа.

— Можем, — негромко говорил оператор, худосочный, испитой, как монах, Вася.

— Отлично! — кричал режиссер, размашисто отправляя кофе куда-то за спину, и кто-то там его забирал. Тиша возвращался из зябкой задумчивости, и режиссер с тревогой наблюдал, как актер утекает из нужного состояния — тяжелой угрюмой тупости с опущенными уголками рта — сюда, на площадку, в себя, который режиссера не очень-то устраивает... Это была обычная иллюзия.

Сыграли быстро. Все-таки Тиша отлично *подходил* на роль: был высок и широкоплеч, но при этом сутул, и по психофизике, как истерик, очень подвижен — мог сделать безумца, пьяного, психопата, любую девиацию изобразить. Даже вне роли, в перерыве, он мог сидеть на площадке, напевать под нос, и вдруг взорваться и вскинуться, да так, что режиссер и группа натурально пугались — как будто он взаправду, не репетирует... Тиша был, что называется, «актёр актёрыч» — органичный, животный и достоверный, заводился с полоборота, а из роли полностью выходил, наверное, только дома.

«Перевертыш» — превращение мента в обезумевшего убийцу — он сыграл филигранно, верилось ему — россыпью по затылку. Когда после съемки собирали объект, курили с режиссером и Тимофеем, заговорили о природе зла, как ее исследовать и играть, опасно ли для актера... Пару дней назад, на подготовке, в группе произошел инцидент: от съемок отстранился всеми любимый, незаменимый, бесконечно отзывчивый рабочий площадки Андрюха, заявив, что не хочет помогать нам на этой серии, не хочет служить распространению зла... Андрюха был, конечно, образцовый «сбитый летчик»: непрерывно пьющий, сморщенный, нездоровый, без передних зубов, кажется, однажды сидевший, хотя энергичный, рукастый и даже любвеобильный. Режиссеру было неприятно, он переживал.

— Ну, Андрюха странный и, кажется, сильно верующий, и на этой почве немного того... — говорил режиссер грустно, но примиряюще. — Хотя я, конечно, не ожидал... А он что, кололся даже? И в монастыре жил, да? Переклинило, наверное, есть, на чём...

Тиша тем временем талдычил свое.

— Но это же боль, боль от несправедливости... И особенно когда за тебя впрягается весь отдел, лучшие следаки, дело чести, а преступника не находят... Нет, нет, он — да, зло и дьявол, это понятно... — многословно, негромко, с прерывистой интонацией рассуждал, с трудом вылезая из шкуры убийцы, Тиша. — Мы же не осуждаем конкретного человека, понимаешь, тут не суд... Мы говорим про персонажа, и мне актерски важно понять, что там внутри, да, его Танатос, скажем так, вот этот механизм, когда его переклинило... Что, наконец, стало спусковым крючком... Боль, отчаяние, что-то еще, да, и главное — где допуск, где этот момент разрешения... Хочется понять. Понять. Так ведь, да?

Режиссер, проглотивший куб, кивнул, отщелкнул двумя пальцами окуроч, снисходительно похлопал Тишу по плечу, в смысле: выдыхай, тормози, снято; затем развернулся и подмигнул спешащей к ним с салфетками гримерше, мол, вот какой у нас сегодня актер, никак не угомонится! Но «девочка-грим», глядя на Тишу, видела не актера, а его верхний слой: тональник, пудру, тени.

— У нашего Андрюхи и этого мента есть что-то общее, вам не кажется? — усмехнулась шарообразная белая Оля, второй режиссер, и главный обернулся и внимательно, но думая о чем-то своем, посмотрел на нее.

— Ах-ха, да, кстати... — по-птичьи открыл рот Тиша, знавший Андрея. — Есть что-то. В любом случае интересна механика, так сказать, перехода... Что скажешь? Нам удалось? — Тиша спросил режиссера, тот подошел, его приобнял и начал хвалить — после «стопа» уже можно, хотя он действительно был сегодня хорош.

---

*Евгений Сологуб*

## В его пиджаке

*Рассказ*

*Алина-а!*

Собственное имя сквозь сон кажется чужим. Перед глазами невесомый образ: тихая река, лодка, плеск воды; берег призрачен, но присутствует ласковой песней, родной и протяжной. Она не спешит открывать глаза. Ощупывает себя, скользя пальцами по мурашкам. Может, и бабушка на том берегу. Нет, не вспомнить.

*Пора ехать! Алина-а!*

Сквозняк перебирает складки подвенечного платья.

За окном, утопая ногами в песке, резвятся дети, подкармливают небо хлебом, но суетливые чайки воруют дары, заглатывают щедрые ломти на лету. Сквозь пудру облаков капаят яркие лучи, шу-шу-шукают волны и сосны скрипят.

*Алина-а! Да где ты?! Алина-а!*

Она ступает на тёплый дощатый пол балкона, сладко потягивается, поднимаясь на носочки. Слышит, как шаги устилают ступени, как распаивается дверь...

*Готова?!*

Распаренный от нервов и беготни, Глеб тревожно глядит на неё сизыми глазами, поддается улыбке, обнимает.

*Пора...*

В прохладе храма кротко блуждают смуглые пары глаз, свечные огни каплями духа стекают по стёклам окладов. Шепотки и неровное дыхание родни вплетаются в тягучую гнусавость иерея. Толстая свеча словно обмякает в горячих ладонях Алины. Глеб бледный, один в один оловянный солдатик.

Сердце пронзает нежная судорога. Ухо слышит порхание крыльев. Губы ждут венчанный поцелуй.

Лучи снуют в липовых листьях, пахнет горячим асфальтом и сладким шампанским. Алина грустно глядит на мужа: бедный, вынужден пить, говорить, отвечать на бессмыслицу. Кто-то тянет за локоть, бормочет слезливые сантименты.

*По машинам — и на банкет.*

Румяные пьяные лица, дёрганные движения сплочённых тел. Оры. Тосты. Пошлая вязь комплиментов. Шаловливое «горько!» повсюду. Алина поминает праздник,

---

*Евгений Сологуб* родился в Петрозаводске, окончил филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 4.

которым все завладели. Мужа нет. Отошёл, заблудился в родне. Лишь пиджак его млеет на стуле.

Пригодится.

...Алина свернула на узкую улочку, выстланную брусчаткой. В закутке невеселого дворика бурчал кроха-автомобиль, в его тускло-жёлтом салоне сидел кучерявый мосластый мужчина. Он отвлёкся от футбольной трансляции и проводил заплутавшую девушку ленивым взглядом. Алина заприметила тоскующую детскую площадку. Девушка сбросила туфли и залезла с ногами на скамейку. Мужчина снял с себя крохотный «фордик» и, сунув руки в карман кожаной куртки, засеменил к ней. Он сочувственно улыбнулся, глядя на лопнувшие алые мозоли, и протянул откуда-то из груди:

- Далеко идти?
  - Кто его знает.
  - Мужа потеряла, что ли?
  - Нашла.
  - Может, мне сигарету найдёшь?
  - Не курю.
  - А пиджак?
  - У него и спросите.
- Мужчина сунул было руку в карман пиджака.
- Но-но-но!
  - Он же мне разрешил.
  - Тогда ладно.

Мужчина остановил ногой карусель, уселся на запятнанную детскими следами платформу. Добрые чёрные глаза его хитро блестели в темноте.

- Где же муж?
- Танцует.
- Без тебя?
- Мне для мамы не жалко. А вы чего не спите?
- Думаю на ночь глядя.
- Вредно, на ночь-то.
- Как раз об этом и думал. На воротничке у тебя щеглы, что ли?
- Вы первый, кто щеглов разглядел.
- Это во мне орнитолог умер. Увлекался в юности... Чем только не увлекался.

Я и биатлоном занимался, и... А-ай, и сейчас хорошо живём...

Мужчина замолк, но весь как будто вздрагивал изнутри.

— Вы меня простите... — кротко попросил он, докурив. — Я обычно не лезу. Само как-то. Раньше сыновья выручали. Поболтаешь, научишь чему-нибудь, а чаще — тебя научат. Светлее было... полнее, что ли... А сейчас разбежались: один в армии, другой в Москве...

Мужчина встал, чтобы уйти, но Алина спросила:

- Скучаете?
- Да-а, куда денешься?
- А сейчас чем живёте?
- Обувь мастерю да за «Зенитушку» болею.
- Не подводят?

— Т'ай. Нервы только треплют. А разлюбить не могу. Родные же. Меня труд спасает...

— Вы прямо сами и шьёте?

— А кто ж?

— И модели сами выдумываете?

— Скорее они меня выдумывают.

Карман пиджака завибрировал: на экране светилось глупое любовное прозвище. Алина отключила звук. Мужчина понёсся к машине. Он долго копошился в багажнике и вернулся с худенькой обувной коробкой в руках.

— Примерьте-ка. У вас же тридцать седьмой?

Алина смутилась.

— Да чего вы. В туфлях далеко не уйдёте, а вам, я так понимаю, нужно далеко.

Алина вышла в топсайдерах под свет фонаря, походила на месте, по кругу, встала на носочки, проскакала по невидимым клеткам классиков.

— Не слишком для первой встречи?

— Что ж умалчивать, — и последней.

Мужчина отошёл подальше, удовлетворённо улыбнулся.

— С пиджаком и платьем просто шик!

— Новые, — смущённо протянула Алина, — натрут ещё хуже.

— Ты через пять минут вообще забудешь, что они на ногах. Можно мне ещё у пиджака угоститься?

Алина достала из кармана пачку.

— Забирайте.

Всё вдруг замолчало и молчанием своим сблизило двух незнакомцев, но также резко молчание это пронзил навязчивый, озлобленный стук в окно, вслед за ним студёный женский голос промямлил приказ. Мужчина цокнул, втоптал окуроч в камень брусчатки и поплёлся к машине. Алина следила за тем, как он хлопнул дверцей багажника, как автомобиль, утешая хозяина, подмигнул фарами, как мужчина, понурый и неожиданно хилый, скрылся в подъезде.

Алина побрела вдоль тёмных окон и пыльных стен, подсвеченных сором неоновых вывесок. Лязгая железом и радостно бренча, проехал томный трамвай: в окне его усердно целовались подростки. Лёгкий шаг утомился от голода. С запахом городской пыли смешался аромат свежей выпечки и повёл Алину за собой.

В сумрачном пространстве круглые столики несли на себе перевёрнутые стулья. В воздухе витала едва слышная одинокая мелодия гитарных струн. За деревянной стойкой коренастый патлатый старик в джинсовой рубашке вытряхивал крошки из хлебных корзин. Он встретил Алину отрешённым взглядом и, не оставляя дела, с досадой спросил:

— Неужели сбежал?

— Мы в прятки играем.

— И теперь не найти?

— В этот раз прячусь я.

Из-за цветастой гардины вышла сухопарая женщина с кружками и чайником в руках. Полы шерстяного кардигана свисали до колен, собранные в хвост волосы открывали маленькие востренькие уши. Она с тихим укором посмотрела на мужчину.

— Ты опять, что ли, дверь не закрыл?

— Не закрыл да невесту впустил, — он подмигнул Алине.

*Мария Батова*

## Рождественский Patchwork

### *Шесть лучей рождественской звезды*

«Сегодня над всеми русскими православными  
детишками взошла Вифлеемская звезда. Звезда  
не пятиконечная! Звезда осьмиконечная!»

*(Из детской телепередачи протоиерея А.)*

1

всем живущим — перепись  
а сотворившему небо и землю,  
еще не рождённому —  
лагерный номер

2

к злодеям причтен  
к похитителям царской короны  
к понаехавшим  
к кому только не

3

кормушка пришлась по размеру  
как маленький гроб

4

отважные руки Иосифа  
сберегли  
и Её и Тебя  
и нас

5

жаждущим ртом  
поисковым рефлексом  
сперва у груди  
потом устами отверстыми  
зовущими потерянных

---

*Батова Мария* — музыкант и поэт. Родилась в 1970 году в Новгороде. Окончила в 1997 году Московскую консерваторию им. П.И.Чайковского как историк музыки. Известная исполнительница старинной и камерной вокальной музыки. В 2000—2010 гг. жила в Цюрихе и служила регентом Воскресенского православного прихода. Вернувшись в Москву, работает в Московской Консерватории, концертирует, служит регентом церковного хора. Стихи на русском и английском языках публиковались в журналах «Православная община», «Вестник РХД» и др., включены в антологию русской поэзии «На Страстной» (М., 2021). В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

## 6

как тот  
 что вчера ходил  
 а сегодня парализован  
 что вчера говорил  
 а сегодня немой  
 Ты  
 незнаемый  
 неведомый непостижимый  
 скрытый  
 в слезах  
 в кровных каплях послета  
 одевай небо облаки  
 крохотная грозная  
 шехина

*Patchwork*

Марии Ченайтуте

ветхая ткань  
 раздирается обеими руками  
 сильно и смело  
 потом ножницы уют и намётка  
 лоскут к лоскуту  
 лучшее к лучшему  
 память к памяти  
 худшее вон  
 зашить печали  
 оплакать прошлое  
 уколоться (и капелька крови)  
 сшить несовместимое  
 спасти уцелевшее

получается  
 целый мир  
 одеяльная страна  
 с птичьего полёта  
 пашни острова горы и реки  
 божественный patchwork  
 в середине золотой ангел  
 с весёлой трубой  
 радует глаз  
 согревает  
 внутреннего  
 нашего  
 Младенца

*Равнодушная природа*

вот шуршат ёлочные иголки  
 как песок в песочных часах  
 отмеряя время от Рождества Христова

вот её слабеющие руки  
 выпускают наши дары  
 стеклянные оловянные деревянные

вот созревшие игрушки падают  
 как августовские яблоки

вот уже тают белые големы  
 мужские и женские  
 снеговики и бабы

вода к воде  
 прах к праху  
 уходят вглубь  
 питая корни  
 огромных тополей  
 что скоро взорвутся листвою

равнодушная природа  
 что тебе до нас



*Бабушке Тоне, ушедшей к младенцу Христу*

когда родился один Мальчик  
Маме нужна была помощница  
кандидаток выбирали долго  
решили взять одну  
самую проверенную  
детсадовскую нянечку  
седую-седую  
старую-старую  
добрую-добрую  
вырастившую детей и внуков  
дождавшуюся правнуков  
у неё были голубые глаза  
добрые руки  
правда, ходила уже плохо  
и почти не слышала  
ну да ничего  
главное - вырастила душу  
а на небесах дадут всё новенькое  
пинеточки свяжет  
варежечки беленькие  
носочки  
песенку споёт  
искупает  
пелёнки поменяет  
кормить Мамочке принесёт по первому писку  
лучшей и не пожелаешь  
забрали её ангелы  
прямо на Новый год  
разве могла она  
не послушаться  
взлетели из реанимации  
сквозь что-то колючее  
царапучее  
какую-то огромную сверкающую ёлку  
зашли то ли во дворец  
то ли в хлев  
стеснялась  
в своём беленьком крестьянском платочке  
освобождала по привычке  
глухое ухо  
агу-агу  
заулыбался  
ну иди сюда  
деточка  
хорошо новорождённому  
Мальчику  
на старых мягких руках  
у нашей бабушки Тони  
никто больше так  
ни на земле  
ни на небе  
не умеет

Павел Крусанов

## Как на речке, на ручью

Рассказ

По ретро-каналу показывали старый, пока еще не раскрашенный под цветную жизнь фильм «Доживём до понедельника». Там юноши и девушки, вместо того, чтобы тискать друг друга в парадных и пить портвейн во дворах на скамейках, решали вопрос о счастье, который поставил перед ними режиссер и Киностудия имени М.Горького. Пётр Алексеевич думал: «В ту пору все тискали и пили портвейн на скамейках». Так было, и он — не исключение. Что говорить... Тискал, не очень-то разбираясь в сумраке парадной, кого исследует на ощупь. И в тот момент, когда из его рук выскальзывало что-то растянутое на все пуговицы, с размазанной по лицу косметикой, и портвейн стоял в его горле, раздумывая: улечься или вырваться наружу, — в тот самый момент он ведь тоже мучительно искал ответ на поставленный перед ним кем-то, находящимся за кадром, вопрос о счастье.

Давно это было. А вопрос так и остался без ответа, потому что дальше все только запутывалось. Впрочем... Да, теперь, вспоминая вечерние или утренние зорьки в камышах, невероятные закатные и рассветные небеса, исполненные то в ярких, то в дымчатых красках, тонкую слюду схватившегося за ночь льда, лебединый гам, гусиный клик, скользящую с тихим всплеском по глади озера лодку, легкий ветер, колышущий камыш и несущий влажные озерные запахи, Пётр Алексеевич как никогда был близок к ответу: счастье — вот это. Охота. Не будь ее — зачем полез бы он на зорьке в камыши? Неисповедимы пути человека к благодати.

Через час Пётр Алексеевич отправлялся туда — в псковские леса, на утиные озера, к бобровым речкам, ястребиным высям и зарастающим лозой, березой и ольхой полям, где серые куропатки пестуют подросшие выводки, а жирные сентябрьские вальдшнепы дразнят охотников на высыпках. В последнее время он отдавал предпочтение вечерней дороге: выезжал из Петербурга так, чтобы оказаться на месте часов в десять-одиннадцать. Добравшись, успеешь хорошо выспаться, и весь следующий день — твой.

Бобровые речки... Одна из них — Льста, на берегу которой стоял дом тестя, летним пеклом выручала несказанно. Июнь и июль нынче выдались невероятно жаркими, ртуть подползала к тридцати пяти, солнце палило, как горнило преисподней,

---

*Крусанов Павел Васильевич* — прозаик. Родился в 1961 году в Ленинграде. В первой половине 80-х — активный участник музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба. Четырежды финалист премии «Национальный бестселлер», финалист премии «Большая книга» за роман «Мёртвый язык» (2010). Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 4.

но Пётр Алексеевич обрел спасение: спустившись к реке, он одолевал ее вброд, заходил возле другого берега по грудь в вымытое бурным потоком *бучило* (глубже места не было), цеплялся рукой за сук нависшей над водой ивы, и река, вытянув Петра Алексеевича вдоль течения, полоскала его, как тряпочку. Он неторопливо менял руки, подставляя струям то живот, то спину, и наслаждался прохладной лаской реки так долго, что порхающие синекрылые стрекозы переставали пугаться и садились ему на лицо.

Полина ходила купаться на озеро — вода там была теплой, как в банном тазике, со студеным слоем в глубине, а простор позволял упражняться в разнообразных стилях его преодоления. Но извлеченной из озера свежести не хватало даже на обратный путь, хоть он и был короток, — вернувшись, впору было вновь искать прохлады. Отчасти помогали деревья: у дома росли клен, липа, рябина и дуб, которые ансамблем давали много густой тени. Липа и рябина в этой компании лишь по грамматическому недоразумению оказались приписаны к женскому роду: такой глубокий тон, разумеется, способен был выдать только мужской хор.

Тесть, Александр Семёнович, в силу возраста и больных суставов отказывавший себе в речных и озерных ваннах, сидел, окутанный палящим зноем, в раскладном кресле под сенью куста чубушника и сквозь ясный день сосредоточенно смотрел в надвигающуюся тьму, которая наступает после жизни. Очки для этого были ему совершенно не нужны.

Пётр Алексеевич тряхнул головой, и видение распалось. Пора было собираться в путь.

— А что вы один? — удивился Пал Палыч. — Друг ваш тоже вроде на куропатку хотел. Ня смог?

— А то Пётр Ляксеич один ня ездит, — ввернула слово в поучение мужу хлопчущая у стола Нина. — Они ж с профессором ня сросши.

— Не смог, — Пётр Алексеевич вздохнул. — Отца поехал хоронить в Челябинск.

Нина поджала губы; Пал Палыча горькое обстоятельство в жизни профессора Цукатова ничуть не смутило.

— То, что он отца хоронит, — это в порядке дел. Дети нас хоронить должны, а ня напротив. Если б отец его хоронил, — вот где больно. А, когда родителей, — это по природе. Все мы временные...

Немного помолчав, Пал Палыч вернулся к прежнему разговору.

— Жданок всю жизнь хотел охотоведом стать, а ему в области было зарублено. Дед Геня зарубил.

— Как зарубил? — Пётр Алексеевич не ожидал такой прыти от покойного охотника.

— Я говорил: Жданок был гниловатый человек. — Пал Палыч насыпал из пакета в стоящую на столе корзинку сушек. — Дед капканы поставил, а его хватить — инсульт. И в больницу положили. Жданок узнал, что дед в больнице, и полный рюкзак капканов — двадцать или двадцать пять штук — снял. Да еще мне хвастает: мол, я у деда снял. А дед пришел из больницы — жалуется: «Паш, ну как так можно — сдернул все капканы!» Я, говорит, ему отомщу. А у него, у Гени, пасынок — он его с мальства к охоте приучил — кормит дичиной областную инспекцию. Понимаете? И Геня пасынку сказал. А тот в Псков сказал. И псковский инспектор поручился, что в Новоржевском районе Жданок никогда охотоведом ня станет. И ему зарубили, — Пал Палыч с чувством тяпнул ребром ладони по колену. — Так и остался председателем общества.

— Тоже неплохо, — заметил Пётр Алексеевич.

— Председатель — должность общественная, охотники выбирают. А охотовед — должность государственная. И он туда хотел... Но как ему: инспекция общество проверяет — инспекция выше, — Пал Палыч доверительно обратил бледно-голубые

глаза к Петру Алексеевичу. — Жизнь так сложилась, что я и с тем, и с тем — и с Геней дружил, и со Жданком. Я знал, что ему ня быть... Поэтому сказал: «Давай — я в охотоведы». Я как раз из милиции ушел. А он говорит: «Нет, все равно я буду». Тогда я сам решил — через природоохранную прокуратуру. У меня как-никак за спиной техникум... А Жданок туда позвонил: «Ня берите его». И аттестовал меня в лучшем виде — хуже некуда. Мне потом так в прокуратуре сказали: «Ты — единственный в районе человек, который может навести порядок, но нам это ня надо». И всё. И вышло, что ни он, ни я. Вот так Жданок поступил — по такому принципу. Как мой отец говорил: или он пополам, или я вдребезги. Понимаете? И что мне за него держаться?

— А что ж держался? — Нина водрузила на стол чайник, струящий из носика сизый пар. — Никак отлипнуть ня мог, пока тот ня помер.

— И ня держался. Я сам сябе барин.

— Флаг в руки и барабан на шею, — напутствовала Нина. — Барин...

— Вот и иду, постукиваю.

С этими словами Пал Палыч пододвинул к себе налитую женой кружку чая и взглядом проводил Нину из кухни.

— Я ее берягу, — сообщил он, как только та скрылась в дверном проеме. — В первую очередь ня как жану, а как мать моих дятей. Моя мать прожила девяносто два года — я на нее смотрел и радовался. Хочу, чтоб и Нина так прожила и дятей радовала. Они как начнут языками бить с дочкой... Дочка все жалуется, все выплескивает, что скопилось, и я чувствую, что ей это надо — нужна мать, — Пал Палыч задумался: все ли он ясно выразил. — Для себя, конечно, тоже берягу, но и для дочки. Больше для нее. Дочка ей и внуков подкидывает, а Нина их учит — и к школе готовит, и в огороде с ими возится, и читать... Вот прислали внуков на каникулы — и у них задание: порешать столько-то примеров, почитать столько-то книжек. Она это все с ими сделала. Ня будь матери, у дочки забот прибавится — ей тяжелей станет. Поэтому у меня на первом месте — это мать моих дятей, а на втором — жана. А она, Нина, ня понимает и нервничает. И с головой у ней ня вполне — капризов много. А в сямье умней тот, кто первым уступит. Много ума ня надо — развестись... Ну, найдешь другую, и что? Только хуже — и сямья другая, и все принципы. Поэтому спокойней надо, и глаза закрывать на нервы. А то у Нины, что ня по ней, сразу: возьму веревочку и повешусь.

Пётр Алексеевич не ждал таких откровений: семейная жизнь Пал Палыча казалась ему едва ли не образцовой, а тут: нервы, веревочка... Или смеется хозяин, водит за нос? Пётр Алексеевич задумался. А, собственно, бывает ли семейная жизнь образцовой? Взять Иванюту: его Марина, с которой он теперь в разводе, в свои тридцать два так истово предалась религии, как в свои двадцать два предавалась любви. Новообратившись, она изучала жития и церковный календарь с тем же самозабвением, с каким прежде изучала «Лолиту» и «Кама Сутру», а мужа побуждала к совместной молитве с той же страстью, с какой прежде побуждала к исполнению супружеского долга. Иванюту она называла толстым и ленивым, хотя и то, и другое не соответствовало положению вещей: брюшка Иванюта себе не завел — по крайней мере сверх того, что допускалось возрастом, — а от совместной молитвы отказывался с таким возмутительным равнодушием, с каким никогда бы не отказался от исполнения супружеского долга. Или взять его с Полиной... Ну с какой стати Полина решила, что самое подходящее место для нахлобучки мужу — машина, где они вдвоем и он за рулем? Ведь он бывает горяч — а если не сдержится, вскипит и гнев сорвет крышку? В этот миг в его руках их жизнь... Поразительная непредусмотрительность. И вообще: женщины — несдержанные существа, они не могут не влюбляться. Так уж устроены. Поэтому мужьям следует позаботиться о том, чтобы жены, раз уж увлечение неизбежно,

---

*Илья Кочергин*

## Рыцарь

*Рассказ*

Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со мной, ты еще не удостоверился, что все вещи странствующих рыцарей представляются ненастоящими, нелепыми, ни с чем не сообразными и что все они как бы выворочены наизнанку?

*Мигель де Сервантес. «Дон Кихот»*

Я приехал в заповедник осенью, в сентябре. Солнце целыми днями напролет, разноцветные склоны гор, гольцы в новых снежных шапках на горизонте, — все это было очень праздничным и обещающим.

Главный лесничий, привыкший к наплыву молодых романтиков, не глядя оформил меня на работу и поселил в заежке: маленьком домике у галечного пляжа, где жили уже три парня. Двое из нас ожидали вертолета на отдаленный кордон, один только что вернулся оттуда, четвертый весело обитал тут все лето.

Дверь заежки в теплые дни была распахнута настежь, мы валялись с книжками или разбредались по поселку и окрестностям, а брошенные под койки рюкзаки надежно хранили наше простое имущество, самым ценным из которого мог быть старенький фотоаппарат «Смена», болотные сапоги, книга о приемах кунг-фу или томик стихов. Мы приехали из разных городов, но были похожи, и вряд ли кто-то из нас перевалил тогда за двадцатидвухлетний рубеж.

Питались сообща.

— Сегодня твоя очередь идти за молоком, — сказали мне. — Иди к Игорю Савинскому, он бесплатно дает.

Следуя указаниям, я прошел мимо деревянной трехэтажной конторы, перебрался по маленькому мостику через Чеченек, вышел к отдельно стоящему большому дому над озером, постучался в дверь, о мои ноги на крыльце в это время заколотился хвост ласковой лаечки.

---

*Кочергин Илья Николаевич* — прозаик, фотограф. Родился в 1970 году в Москве. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Работал на разных работах, в том числе почтальоном, дворником, строителем, пожарным сторожем в Баргузинском заповеднике на Байкале, рабочим геологической партии на Камчатке, лесником в Алтайском заповеднике. Автор нескольких книг прозы. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и других. Живет в Москве и в деревне в Рязанской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 7.

С молоком меня просто так не отпустили. Душистый борщ, хлеб только из печки, чай с вареньем. Валя Савинская уложила ребенка и пела бардовские песни под гитару. С показным спокойствием и ревностью я слушал рассказы Игоря о том, ради чего я ехал сюда — о суровых походах на лыжах, о летних странствиях верхом по просторам заповедника, о медведях, браконьерах и зажаренной на костре свежей дичине. Ветер в грудь, снег в лицо и дикие просторы. Все это должно было меня ожидать в ближайшем будущем.

Я даже сам взял в руки гитару и спел несколько песен. Обычно стеснялся, но не сегодня.

— Замечательно! — похвалили меня Савинские. — Только в этих песнях, вообще-то, совершенно другие мелодии.

Я стал смущенно спорить, уверял, что тщательно сверял значки над словами в песеннике со схемой аккордов в самоучителе, так что ошибки в мелодиях быть не может.

— Ой, не могу, ты — прелесть! — смеялась Валя, учитель музыки в местной школе. — Ты думаешь, что аккорды и мелодия — одно и то же?

Савинские весело и родственно порадовались моей музыкальной наивности, заставили съесть еще тарелку борща и взяли твердое обещание снова прийти завтра.

Так я познакомился с Игорёшей, моим старшим товарищем. С годами десятилетия разница в возрасте, конечно, стала не столь заметна и важна, это обычное дело. Но так уж распределились наши роли: он старший товарищ, я — младший.

С тех пор за молоком для обитателей заежки ходил только я. Грелся в тепле молодой семейной жизни Савинских, радовался их веселому дому среди сосен на взгорке над озером, слушал, как с улыбкой Валя осаживала своего мужа, когда тот слишком распалялся в похвальбе от нерастрченных сил и азарта.

Нелегко было осадить Игорёшу, если он, налегая на согласные звуки, ломал крутые перевалы, рвал с плеча ружье перед вставшим медведем, дотягивал на пределе сил самые трудные последние километры, отогревал потерявшие чувствительность от мороза пальцы, чтобы единственной оставшейся спичкой разжечь костер. Мы выходили от Валиного насмешливого взгляда покурить и тут, на крыльце, уже свободно месили лыжами снег, тратили последние патроны и боролись за жизнь в трудной работе. Вернее, он боролся, а я бежал вприпрыжку за его рассказами и покрывался мурашками от предвкушения.

Потом, этой же осенью, он гостил у меня на кордоне. Их патрульная группа прилетела и готовилась к большому походу по границам заповедника. Веселовский со Спицыным остановились у начальника нашего лесничества, а Игорь — у меня в квартире.

Один из самых опытных, судя по всему, патрульщиков остановился у меня, а не у лесничего! Это возвышало в собственных глазах.

Проснуться от солнца, бьющего в холостячко-голые, без занавесок окна. Можете себе представить — дикое азиатское солнце, настоящее на рыжей хвое неподвижных лиственниц? Белые вершины на горизонте, склон горы за оконным стеклом. Запах сухого домашнего дерева, запах тайги, начинающейся за домом, ароматы брезента, конских потников, резины, кожи.

Затопить печку, сварить на ней чай. Завалиться обратно на кровать, поставить горячую кружку себе на живот, пускать дым в потолок. Что может быть лучше такого совместного со старшим товарищем мальчишеского утра?

Отправиться по окрестностям в праздном любовании пейзажем, который предвещает суровые мужские удовольствия. Вечером в темноте ловить голубей



на чердаке и готовить из них похлебку. В другой день варить суп из белок. Серьезно и красиво шутить. Заваривать крепчайший чай, поскольку мы, таежники, пьем только крепчайший. Списывать друг у друга стихи и слова песен. Рассказывать истории, в которые и сам под конец начинаешь верить. Обсуждать ножи и ружья.

Иметь в друзьях не придуманного, а самого настоящего Карлсона, у которого вместо пропеллера за спиной — ижевская вертикалка шестнадцатого калибра, на носу очки, на ремне нож, в зубах заточенная спичка. Который бывает столь же серьезен и обидчив, если кто-то вздумает усомниться, что он за один присест съест мяса больше, чем любой индеец, что он способен, подобно джеклондоновскому Смоку Белью, пробежать полсотни километров, потом перебить всех мужиков и перетанцевать всех женщин.

Первый раз в жизни закарбаться на коня, заседланного для тебя Игорёшей, а потом ехать вдвоем по горным склонам, глядеть на уши своей лошади, на круп идущего впереди Игорёшиного коня, и вдруг в наступающих сумерках увидеть, как тайгу затягивает пеленой первого снега.

Через год я еще погостил у него, в его доме у озера, пока увольнялся.

После этого ни у него, ни у меня не возникало сомнений, что, будучи проездом в Москве, нужно радовать и взбадривать эту Москву, нужно, чтобы эта Москва бросала все свои дела и мчалась на вокзал пить кедровую настойку, говорить за походы, устраивать хрусталь и звон бокалов.

Я тоже считал вполне естественным вдруг завалиться к нему, в его веселый дом над озером с влюбленной в Россию иностранкой и еще двумя прибывшими по пути немцами, сосредоточенно искавшими расписание транспорта в сибирской глубинке, там, где отсутствуют всякие расписания, где начинается веселая дорога, основанная на везении, бесконечном терпении, пофигизме, выпивке, дружеских братаниях. И вот ты распахиваешь дверь радостный, со своими иностранцами, а у Савинских еще не очухавшаяся после родов Валя, грудной ребенок и семь хиппи на постое. Но ничего не может помешать ночным посиделкам, песням под гитару и восторженным рассказам с яркими нотками Джека Лондона, Хемингуэя и куваевско-визборовским послевкусием.

В этом заповеднике Игорёша отработал семь лет. Семь лет Савинские прожили в большом веселом доме на взгорке, с которого открывался замечательный вид на озеро и далекие вершины. И в последний год его работы он опять позвонил мне, только уже не с вокзала по пути к маме, а из Новосибирска, после того, как посадил Валю с ребятишками на самолет.

— Москвич, узнал? Я рад. Короче. Намечается большой поход. Патрулирование границ заповедника и вахта во время нереста на Джулукуле. Примерно середина мая. Это мой последний поход в заповеднике. Потом увольняюсь. Валя уже уехала к родителям. Буду рад, если сможешь приехать. Сходим вместе, отведем душу. Имей в виду, что я настаиваю и перезвоню вечером еще раз.

Надо сказать, что эпитет «москвич» в его устах звучал необычно. За время странствий по стране я привык к враждебному или брезгливому звучанию. А тут — нейтрально, примерно как марка автомобиля.

Я дразнил его иногда:

— Ты знаешь, ты какой?

— Какой? — с надеждой и интересом спрашивал мой старший товарищ.

— Ты толерантный.

Он обижался.

И мы сходили в этот поход. Если бы не сходили, то моя жизнь сложилась бы

---

*Бар-Йосеф Хомуталь*

## Я нашла его в интернете

*Рассказ*

*С иврита. Перевод Зинаиды Палвановой*

Нарушим клятву, сохранив себя,  
Не то, её храня, себя разрушим.

*В. Шекспир. «Бесплодные усилия любви»  
(Акт 4, картина 3. Перевод Ю. Корнеева)*

Я нашла его в Интернете. Было десять вечера. По радио передавали мою любимую сонату для флейты Пуленка<sup>1</sup>. Но голова и живот упорно продолжали болеть. Соседи сверху снова передвигали мебель прямо у меня над головой, и Пуленк был бессилён против этого шума. Не мог он справиться и со стиралкой, методично работающей у них весь вечер. Полчаса назад я слопала целую плитку шоколада, хотя собиралась утешить себя лишь одной долькой. Похоже, я снова набираю потерянные за месяц строгой диеты килограммы.

Это был один из тех ужасных вечеров, когда я чувствую себя беспомощной мухой, с отчаянным жужжаньем бьющейся о стекло. Я была в панике, я готова была решиться на что угодно — постыдное, запретное, опасное, — лишь бы прекратить этот кошмар.

За спиной у меня было несколько неудачных свиданий с деловыми пузатыми мужчинами. На плохом иврите, без всякого юмора они говорили о своих проблемах со здоровьем. Это было невыносимо, и я дала себе клятву найти кого-нибудь нормального, кто спасет меня от этих вечерних приступов отчаяния. Только ни в коем случае не влюбляться. Впрочем, разве должен человек со сломанной ногой клясться, что он не будет бегать? Разве должен человек с обманутым, разбитым вдребезги сердцем клясться, что он ни за что не влюбится? Честно говоря, я просто хотела купить нечто совершенно необходимое мне, но заплатить как можно меньше. Выбрать это, как

---

*Хомуталь Бар-Йосеф* — поэт, прозаик, переводчик, литературовед. Родилась в Израиле, в кибуце, расположенном на берегу озера Кинерет. Составитель (вместе с Зоей Копельман) антологии ивритской литературы в переводах на русский язык. Лауреат многих литературных премий. Ее стихи переведены на русский, английский, немецкий, французский, итальянский, арабский и другие языки. Живет в Иерусалиме. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

*Палванова Зинаида Яковлевна* родилась в Мордовии, в семье отсидевших в Темлаге «врагов народа». Окончила Институт народного хозяйства им. Плеханова. Стихи и переводы публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Континент» и др. Автор четырнадцати поэтических книг, лауреат нескольких литературных премий. В Израиле с 1990 года. Живет в Иерусалиме.

<sup>1</sup> Французский композитор (1899–1963).

выбирают сыр в супермаркете. Не теряя голову, не зажигаясь, помня лишь об одном — о собственной выгоде.

Мои подруги обычно тщательно взвешивают, ищут совета, выжидают, сомневаются. Я — другая. Я решаю и делаю. Так из детсадовской учительницы музыки я превратилась в профессора музыковедения. «Достигла высот», как говорила моя тетька из мошава<sup>1</sup>, в котором я выросла (при этом музыка, которую я пишу, мало что значила в ее глазах, поскольку знаменитой я не стала).

Короче говоря, я поняла: сейчас или никогда. Скоро я стану слишком старой, чтобы искать себе пару в Интернете или в кафе.

Так-так, интересно... Некурящий — это хорошо, нерелигиозный — тоже очень хорошо, это становится особенно важным в конце недели, перед субботой и в субботу. Хобби — фотография и прогулки на природе. Слава богу, не скалолазание, не ударные инструменты, не парашютизм и не планеризм. Образование — десять классов школы. Да, это проблема. Как знакомить его с подругами? Ведь они скажут мне потом: с ним же не о чем говорить! Конечно, он голосовал за Нетаниягу... Ах, совершенно неважно, кто что скажет и за кого он голосовал! Я найду, с кем поговорить на интересующие меня темы, у меня есть пианино, есть книги. С бывшим мужем у нас было много общего, мы разговаривали, обсуждали книги и фильмы, ходили на акции протеста против оккупации. Но он не хотел детей, а когда они все-таки появились и выросли, настроил их против меня, словно нерадивых учеников против строгой учительницы.

Для чего мне нужен мужчина? Чтобы не жрать сладости по вечерам, не прятаться от себя в постель, не ворочаться потом часами, прислушиваясь к тому, как все те же соседи сверху шаркают ногами по дороге в туалет и обратно, в спальню. Разумеется, Интернет — не супермаркет, и любовь, конечно, не сыр, но я ведь не ищу любви. Я ищу мужчину, чтобы просто не быть одной, такого мужчину, который не будет причинять мне боль. Хватит, настрадаюсь я уже от любви!

...Рост — метр семьдесят, это не намного больше, чем у меня. Да он совсем невысокий! Впрочем, если у него из-за этого комплекс неполноценности, то это даже неплохо. Но с такими нужно быть осторожной, такие легко обижаются. А я, может, и профессор, но осторожность — явно не моя сильная сторона.

Профессия — строительный подрядчик. Боже мой! Что-то вроде прораба. Нечищенная обувь, обветренные руки, грязный автомобиль-фургон, на котором он выезжает на природу... Самое страшное: наверняка у него громкий голос. Это не по мне, этого я не перенесу. Я очень чувствительна к шуму, к любым громким звукам. Имя — Эли. Ладно, допустим. На фотографии он — как летчик, в огромных солнечных очках. Нет, летчиком он никогда не был, летчики не ищут себе пару в Интернете. Может, он мечтал быть летчиком в детстве. Он явно хочет казаться мужественным. На другой фотографии в этих же очках он стоит на одном колене перед крупным фиолетовым цветком люпина. Что он хочет этим сказать? Не только секс, но и романтика? Во всяком случае, он полагает, что романтика ему нужна. Разведен. Будем надеяться, что это правда, хотя не исключено, что он еще не развелся, а только собирается развестись. Трое детей, живущих отдельно. Ладно, ничего.

Сколько же ему лет? Шестьдесят один? Боже, он моложе меня на целых четыре года, я ему не подхожу. Никаких шансов. В этом возрасте они хотят пятидесятилетних или даже моложе. Я соврала, когда заполняла анкету, что мне шестьдесят. Правда, выгляжу я значительно моложе своих лет, все так говорят, даже семейный врач. Между прочим, только несколько месяцев назад кончился мой тайный роман с Хаимом, который был моложе меня на целых двенадцать лет. Эта связь продолжалась почти год. У Хаима семья: жена и две дочки. Все началось, когда он пришел чинить мой

<sup>1</sup> *Мошав* — разновидность сельского поселения в Израиле.

домашний телефон. Я тогда залезла на стремянку. Это почему-то его зажгло... С ним я говорила о кулинарии, о его семье, об общих знакомых. Он никогда не был в консерватории и, может быть, даже не знал значения этого слова, но для меня это было неважно. Вспомнив о Хаиме, я невольно размягчаюсь, вижу перед собой его лицо, чувствую его тело, закрываю глаза и таю, таю... В моем возрасте? Факт. Он исчез из моей жизни, когда обо мне узнали его родители, сестра, друзья. Наверно, испугался, что его спросят: где ты откопал эту старую ашкеназку<sup>1</sup>? Не мог найти себе кого-нибудь помоложе? Не помогли подарочки — вазы, конфеты, косметика, — которыми я пыталась задобрить его родителей и младшую сестру. Мне потребовалось время, чтобы оправиться от удара, чтобы убедить себя: ты должна благодарить небо за целый год счастья! Чего стоит один этот поистине бетховенский миг, когда из окна своей квартиры ты увидела его бегущим к тебе под ливнем?.. Неважно. Кончено. Стёрто.

А теперь этот тип в лётных очках, стоящий на одном колене перед цветком люпина...

В графе «профессия» я скромно написала: учительница. Я не соврала: я преподаю в университете. Не писать же мне «профессор музыковедения» или хуже того: композитор!.. Я очень давно поняла, что, если я хочу любви, мне следует тщательно скрывать свои знания и взгляды. Я должна как можно меньше говорить и как можно больше слушать своего мужчину, при каждом удобном случае восторгаться им, делать комплименты и ни в коем случае не спорить с ним. Не призывать увидеть обратную сторону медали, не настаивать на точных формулировках, не уличать в отсутствии логики. Просто поразительно, как это работает! И как все начинает рушиться, когда я забываю об осторожности.

Рост и вес у меня в полном порядке, тут мне не пришлось врать. Но назвалась я не Габриэлой, а Ахувой, фамилию писать не стала и фотографию, разумеется, не представила. Не хватало, чтобы меня увидели и узнали коллеги, время от времени интересующиеся, не собираюсь ли я выходить на пенсию. Между прочим, в Интернете вся информация остается навечно!

Больше недели я ждала звонка. И вот, наконец, мужской голос в трубке:

— Я могу поговорить с Ахувой?

Голос мягкий, ласковый, так говорят с детьми или с больными. Прежде чем я сообразила, кто такая Ахува, этот голос проник в мое сердце подобно тому, как звук гобоя радует меня еще до понимания, что это Бах, или Брамс, или даже клезмерская музыка.

— Я слушаю. С кем я говорю, пожалуйста?

Не стоило говорить «пожалуйста», это прозвучало как-то высокомерно.

— Меня зовут Эли. Я прочитал ваше объявление в Интернете.

Говорит спокойно, уверенно, не умничает. Его и на самом деле зовут Эли.

— О'кей!

— Так вы заинтересованы сделать дэйт<sup>2</sup>?

Прямо к делу со своим ужасным ивритом вперемешку с английским! Не показывать, как я рада. Немного подождать, не отвечать сразу.

— Почему бы и нет? — изо всех сил я стараюсь говорить легко и кокетливо.

— Отлично. Тогда... когда вы свободны?

Хочу выдержать паузу, но отзываюсь почти сразу.

— А когда вам удобно? Я обычно свободна по вечерам. Можно встретиться даже сегодня.

Да, вот-вот я закончу свои дневные дела: писать, звонить, просматривать почту.

<sup>1</sup> *Ашкеназы* — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе.

<sup>2</sup> Свидание (*англ.*).

Хотя бы сегодняшним вечером я не стану жертвой очередной атаки тревоги и обжорства.

— Сегодня вечером? То есть прямо сейчас?

— Да, если вам удобно. Если нет, можно и отложить.

На самом деле я терпеть не могу откладывать. Терпеть не могу, когда опаздывают. Сама я очень стараюсь опоздать, но у меня никогда не выходит. Бывает, что прихожу чуть ли не на час раньше. Хорошо хоть, что никто не видит этого!

— Мне удобно. Сейчас на часах семь.

— Вам удобно в восемь?

— Знаете что... Ладно... Где вы предлагаете встретиться?

Он все-таки смущен. Это меня трогает. Мужчины не знают, как сексуальна их слабость.

Я произношу название кафе с восточной кухней на углу моей улицы, в двух шагах от дома. Мне должно быть максимально легко и удобно. Я зареклась прилагать усилия в подобных ситуациях.

Теперь эта вечная проблема перед свиданием: что надеть? Как выглядеть моложе шестидесяти, когда ты старше шестидесяти пяти? Как сделаться вдруг привлекательной, милой, сексуальной? Покрасить ресницы или не стоит, ведь тушь может размазаться? Нанести пудру с блестками только на декольте или и на лицо тоже? Надеть туфли на шпильке или на среднем каблуке, который позволит продемонстрировать легкую походку? Надеть платье в обтяжку, подчеркивающее мою стройную фигуру, или роскошный дорогой костюм, вызывающий восхищение (как автомобиль «ягуар», ведь для мужчины очень важно, чтобы его женщина вызывала восхищение)?

В конце концов я выбрала светлые туфли на среднем каблуке и элегантный терракотовый льняной костюм, который купила в прошлом году в Зальцбурге, когда ездила туда на музыкальный фестиваль. Мне показалось забавным, что длинный ряд пуговиц, покрытых тем же материалом, словно намекает на возможность звукоизвлечения... Верхние пуговицы я оставила незастегнутыми, а под жакет надела белую блузку с глубоким декольте. Одевшись и внимательно посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что стабильность, уважение и доверие для меня важнее сексуального влечения. Но это вовсе не значит, что я отказываюсь от него!..

Когда я вошла в кафе, он уже сидел за одним из центральных столиков, предназначенных для двоих. Нет, он не вскочил, не снял солнечные очки, просто повернул в мою сторону ничего не выражающее лицо. Не хочет сразу же показывать свой невысокий рост или на всякий случай демонстрирует незаинтересованность в товаре, чтобы сбить цену? Я живо направилась к столику. Живость всегда была моим козырем, она лучше всякой парфюмерии говорит о том, что мне еще далеко до старости.

— Эли? — спросила я не очень уверенно, чтобы выглядеть женственной.

— Вы — Ахува, — произнес он утвердительно, без тени сомнения в голосе.

Мне захотелось быть честной.

— Сказать по правде, Ахува я только на сайте знакомств, на самом деле я — Габриэла.

Я старалась говорить как можно проще. Было ясно, что естественный для меня литературный иврит сразу же создаст дистанцию между нами и уничтожит всякий шанс на сближение. Нет проблем, на разговорном иврите я постоянно общаюсь со своими студентами.

Не давая себе труда улыбнуться, он вонзил в меня испытующий взгляд — медленный, серьезный, изучающий, не тот мужской взгляд, который тебя раздевает (это нам знакомо!), а откровенно собирающий информацию с тем, чтобы принять обоснованное решение. Мне понравилось, что на нем серая выглаженная хлопчатобумажная рубашка (ненавижу мужчин, которые носят нейлоновые рубашки).

Стефания Данилова

## Искусство маленьких шагов

\* \* \*

Раз — бежала. Два — упала. Три — лежу ничком.  
Говорила и кричала, а теперь молчком.  
Мимо дни маршировали  
и людей фаршировали,  
а Земля крутилась глупым голубым волчком.

Вместо болтовни с друзьями позвони в «ноль-три».  
Улыбнись, заплачь, отдёрнись, а теперь замри.  
Ты из железобетона  
или из гипсокартона?  
Выйди вон и за собою тихо дверь запри.

Не носить бы на себе ни золотых шелков,  
ни под страшными глазами бронзовых мешков,  
ни креста, ни амулета, ни ножа, ни пистолета, ни проломленного лета.  
Научи меня искусству маленьких шагов.

\* \* \*

Я в который раз вытягиваю билет  
на самолёт, сдавая в багаж тоску.  
Ни один детектив не распутает в небе след,  
что моими шагами продолжится по песку.

Не дари мне цветов: в краю, что меня позвал,  
даже в зимнее время ветви стоят в цвету.  
Мои руки окоченели сжимать штурвал!  
Мои ноги так не хотят идти по мосту!

---

*Данилова Стефания* — поэт, культуртрегер, критик на портале Pechorin.net. Организатор фестиваля «Всемирный день поэзии», конкурса имени И.А.Бродского «Broad Sky Fest» и Всероссийского поэтического акселератора «ВПрофессии». Участник Форумов молодых писателей РФ и СНГ, всероссийского семинара «Мы выросли в России» и др. Автор книги стихов «Лучшее за X лет» (2021). Живёт в Санкт-Петербурге. В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.



И, впервые не обещая, что я вернусь,  
обниму незнакомый город одной рукой.  
Радость — не что иное, как молодая грусть.  
Если хочешь, сфотографируй меня такой.

\* \* \*

Что самолёт твой мягко приземлится,  
И ты себя швырнёшь в родные лица,  
а следующие пять-семь минут  
тебя в своих ладонях не сомнут;

что позвонишь из собственного дома  
ты, а не голос твоего фантома,  
и что тебя не выключат, как свет,  
мне никаких совсем гарантий нет.

Мне бы в твоём отсутствии недлинном  
тебя создать из памятной глины  
и спрятать до того, как ты придёшь,  
под первый же попавшийся мне дождь.

\* \* \*

Танцуя на стёклах, вальсируя на канате,  
я серебром чернею на пьедесталах.  
На золото мне полбалла всего не хватит, —  
Но у меня нет чувства, что я устала.

На платье речном даже взглядом не выжечь дыры.  
Сентябрьский мороз в мурашки вставляет жалца.  
Однажды я встану вместе с фабричным дымом  
и выйду к воде, забыв, как в ней отражаться.

Но даже вода серебряная, как старец.  
Возьму себя в крылья и отступлю от пирса.  
Скажи мне, что всё уходит, а я останусь.  
И лёд под ногами не вздумает расступиться.

*Александр Рыбин*

## Горечь лимонов

Получается, что бывшая навела на меня эту немку, хотя никогда в жизни не встречала ее и совершенно не подозревала о ее существовании. Дело в книге. И в Кипре. Точнее, в Турецкой республике Северного Кипра. Республику организовала турецкая армия, оккупировав северную часть острова, населенную турками, греками и подданными британской короны. Оккупация происходила в 1974 году. Турецкая армия спасала этнических турок на Кипре после того, как власть на острове захватили греческие националисты и решили освободить «исконно греческие земли» от лишних народов. Получилось новое государство. Правда, никто, кроме Турции, его не признал.

В декабре 2018-го года я пытался спасти отношения с бывшей, поэтому предложил вместе отправиться на Кипр. «Полторы недели, может, что-то у нас получится». Она согласилась и взялась за литературу по Кипру. За годы жизни со мной она научилась предварительно интересоваться теми местами, куда планирует отправиться: историей, культурой, языком. До того она путешествовала, словно ходила за покупками по магазинам известных торговых марок. Очень гордилась количеством штампов разных стран на страницах паспорта. Впрочем, со временем ее потащило обратно к прошлому, вредные потребительские привычки и комплексы стали проявляться с новой силой. Отношения разваливались, скандалы, ее истерики, невыносимая атмосфера в квартире. Поэтому появилась идея путешествия на Кипр.

«Лоренс Даррелл, “Горькие лимоны”, лучше, что я прочитала про жизнь на острове, пока его не разорвали на части турки и греки», — сказала мне бывшая, когда мы летели из России в сторону кипрского аэропорта Ларнака. И она кратко пересказала содержание текста. Походило на балканские сюжеты: жулики, лень, алкоголь, вооруженные разборки между местными, борьба коренных жителей против британских колониальных властей и отставной британский дипломат, Даррелл, приехавший на Кипр, чтобы писать книгу. Даррелл с помощью одного местного мошенника купил дом в селе Беллапаис. Начало 1950-х. После 1974-го Беллапаис попал в состав Турецкой республики Северного Кипра. Но дом Даррелла, умершего в 1990-м, остался в собственности его родственников. «Надеюсь, что этот дом удастся посетить. Не знаю точно, стал ли он музеем или по-прежнему просто жилой. Не нашла точной информации. Сама история, как Даррелл покупал дом, описанная в “Горьких лимонах”, — восхитительна».

---

*Александр Рыбин* родился в 1983 году в г. Кимры Калининской области. Окончил филологический факультет Тверского университета. Печатался в литературных журналах, в том числе — «Неве», «Звезде» и «Новом мире». Проживает от Аддис-Абебы до поселка Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе — увлечения жизнью к тому обязывают.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 5.

В первые наши дни на Кипре лили нескончаемые дожди. Сильнейшие за последние 40 лет. Размыло некоторые дороги. Несколько человек пропали без вести — их смыло вместе с машиной на одном из горных шоссе. Местный турок через хлещущие ливневые потоки довез нас до города Гирне, где мы договорились остановиться на три дня у студентов из Йемена. Турку было не по пути, но он беспокоился за нашу судьбу среди стихии. Выскочив из машины и пробежав до дома йеменцев всего 20 метров, мы полностью промокли. Через два дня дожди закончились. Яркое средиземноморское солнце, духота, лужи, капли воды в бутонах цветов. Мы отправились в село Беллапаис. Оно находилось на горе, над Гирне. Домики в Беллапаисе расположены под углом, прилеплены к крутому склону. Вверх-вниз, вверх-вниз — петляли мы по улицам.

Сначала решили посетить аббатство, которое здесь устроили почти тысячу лет назад крестоносцы. Надломанные арки, перебитые кресты на стенах, обвалившиеся купола. Несколько банановых пальм шуршали листьями-веерами под порывами ветра, словно пергаментными страницами. Мы гуляли среди старинных резных камней раздельно. Я вспомнил наши ранние отношения среди других древних камней, в Сирии: не отлепиться, рука об руку, чувствовали животное тепло друг друга. За ровной серой плитой Средиземного моря виднелись темные берега Сирии. Мы вновь встретились на выходе из аббатства. «Идем к дому Даррелла?» Зашагали вверх по одной из улиц. Бывшая открыла свой блокнот: «Вот я выписала из “Горьких лимонов”. Слушай. “Я был готов увидеть нечто прекрасное и уже знал, что руины монастыря в Беллапаис — один из красивейших памятников готической эпохи во всем Леванте, но я никак не ожидал увидеть такую поразительно законченную картину: маленькая деревушка охватывала притулившийся к прохладному боку горы монастырь со всех сторон, осторожно его баюкая. Перед последним подъемом дорога шла зигзагами, прорезая ландшафт с густой примесью апельсиновых и лимонных садов, наполненный шумом бегущей воды. Дорога была сплошь усыпана миндалевым и персиковым цветом: роскошь неправдоподобная, как декорация в японской пьесе. Последние сто с небольшим ярдов дорога шла по окраине деревни, мимо спускающихся по склону серых, построенных на старый манер домов со сводчатыми дверными проемами и резными дверями на старомодных петлях”».

На нашей карте дом британца был указан под названием «Горькие лимоны». И никаких других примечаний. Если не знаешь про его книгу, то не поймешь, в чем смысл, — просто чудное название одного их домов. Мы вышли на небольшую площадь. «Этот, кажется. Уточним у местных на всякий случай». Мимо проходил старичок в пиджаке и кепке, руки заложены за спину. Я обратился на ломаном турецком. Фамилию «Даррелл» он быстро понял и показал пальцем на жилье британца. Правильный серо-желтый куб в два этажа, обрезанный снизу по диагонали, — потому что встроен в склон. Окна закрыты ставнями. Позади дома каменная глухая стена, закрывающая внутренний двор. Над стеной нависли лимонные деревья: мелкие недоспевшие желтые плоды в зеленой листве. Мы постучали в единственную дверь. Прислушались. «Вроде никакого движения. Надо громче». Я ударил ногой. По-прежнему внутри тишина. Из соседнего дома вышел мужик с сигаретой в зубах. «Ноу, ноу. Йок. Британия. Фэмели ту Британия», — сказал мужик. «Музей?» Мужик сложил пальцы в щепоть, — ближневосточный многозначительный знак, в данном случае он означал «подождите». Позвонил. Разговаривал с кем-то по телефону по-турецки. Передал трубку мне: «Хэлло». Мужской голос в трубке владел английским. «Мы пытаемся попасть в дом Лоренса Даррелла. Мы — туристы». Родственники писателя, объяснял голос, постоянно живут в Британии, в Беллапаис приезжают исключительно летом; они разрешают туристам входить внутрь, но только когда сами в доме. «Сорри, гайз», — закончились объяснения. Я отдал телефон турку: «Ташакюр эдерым». Бывшая подошла к стене, закрывающей внутренний двор. Ухватилась

за края, подтянулась и налегла животом на стену. Сорвала несколько лимончиков и, оттолкнувшись руками, прыгнула — молодая грациозная кошка. «Когда с йеменцами будем пить чай, добавим. Лимоны из писательского дома. По-моему, круто».

В доме йеменцев я разрезал лимон и попробовал. Очень горький, именно горький, а не кислый, как положено быть спелому лимону. Но йеменцы, соблюдая аравийский этикет, допили чай, в который мы им подкинули лимонные дольки, и поблагодарили: «Очень вкусно».

После поездки на Кипр отношения развалились окончательно. Она в полной мере стала бывшей. Словно издохшая лошадь, отношения с ней остались позади меня на дороге. Я шагал дальше, стараясь не оглядываться. За следующим поворотом я оказался в эфиопской столице — Аддис-Абебе.

Немка Катарина прилетела в Аддис, чтобы заниматься научной работой. Университет выделил ей финансирование на изучение нескольких видов растительности в национальном парке на юге Эфиопии, вокруг озера Хауаса. В Аддисе ей полагалось как исследовательнице общаться с местными преподавателями и читать их научные труды по теме. 21-летняя дочь профессора древнегреческой литературы из Берлина. «И как долго ты путешествовал по Кипру?» — спросила она меня. Мы в компании других белых иностранцев сидели вечером в кабаке Black Rose, — главное место сбора экспатов в эфиопской столице. Двумя неделями ранее моя алжирская подружка улетела домой во Францию и возвращаться в Аддис не собиралась, поэтому я настроился на новые отношения. «Полторы недели суммарно — в греческой и в турецкой частях Кипра. Недолго». Выяснилось, что отец Катаринины преподавал в греческом университете на острове. Она с ним прожила на Кипре около года. «Лоренса Даррелла ты читала? “Горькие лимоны”? Хорошая книга». Катарина хлопнула себя по коленям: «Офигеть! Ты же говоришь, что путешествовал по Кипру всего полторы недели. Откуда знаешь про “Горькие лимоны”? Да мало кто об этой книжке знает даже в кипрских университетах. Я про преподавателей. Студенты всюду ленивые и ничего не знают». В общем, мы откололись от компании и дальше общались вдвоем, не обращая внимания на остальных. Катарина считала «Горькие лимоны» лучшей из прочитанных книг.

Молоденькая немка хотела нравиться многим мужчинам, а желательно — всем симпатичным. Умная и бойкая, высокая и смазливая, у нее получалось. Но мужиков вокруг сбивали с толку ее энергия и напор. Они теряли инициативу в общении и превращались в овощи. Поэтому нужно было перекрыть ее напористость своей, чтобы затем уйти вместе из Black Rose... куда? Можно и ко мне. Я принялся задавать ей вопросы — Кипр, турки, греки, литература, папа-профессор, Берлин и т.д., — прикасаясь как бы ненароком к ней то тут, то там, то ниже, то выше. Ей нравилось. Сомнения? Никаких сомнений. Однако следовало соблюдать условности общества: нельзя просто взять и уйти, покинуть компанию, потому что компания была достаточно трезвой пока. Я посмотрел на часы: начало десятого. Обычно в Black Rose засиживаются до закрытия: до часу ночи. Если не перемещаются в клубы. Вариант с клубом неплох. В многолюдье можно затеряться и подыскать укромный уголок. Или совсем исчезнуть. Можно ко мне.

Мы пили пиво «Хабеша» и курили сигареты-самокрутки. Суданец Мухаммед работал на заводе, где производится «Хабеша», консультант-технолог. «У них отличное немецкое оборудование. Поверь мне», — говорил Мухаммед. И я верил. Суданцам я верил почти каждому. Есть ли честнее народ в Африке? Возможно, кабилы, живущие на севере Алжира, — впрочем, то другая история. Суданцы, греки, итальянцы, французы, немцы, испанцы, китайцы и, конечно же, эфиопы заполняли кабаки. На эту орду — я один-единственный русский. «Чем ты занимаешься в Аддисе?» — спросила Катарина. Двигаюсь дальше по жизни, избавляюсь от ненужного груза прошлого, —

*Анна Воропаева*

## «Это коммунальная, коммунальная квартира!»

*Заметки о студенческой жизни в Китае*

«Наконец-то я это сделала!» — пронеслось у меня в голове, когда, получив свой багаж, я вышла в заполненный шумной толпой зал аэропорта города Далянь. Я столько к этому шла, и вот, получив грант на четыре года обучения, стою на китайской земле в предвкушении неизведанного, немного пугающего, но вызывающего в душе восторг будущего.

— Excuse me, are you from Dalian University of Foreign Languages? — услышала я вполне сносную английскую речь рядом с собой и, повернув голову, увидела высокого, недурной наружности китайца, одетого по последней европейской моде и благоухающего парфюмом, что в Китае большая редкость. Китайцы предпочитают не пользоваться духами. Считается, что запах чистого тела куда приятней, чем искусственный запах парфюмерии, созданной европейцами в давние века для маскировки недельной давности амбре немытого тела.

Парень представился студентом-волонтером, ответственным за встречу иностранцев.

Узнав, что я «шпрехаю по-ихнему», он обрадовался и, конечно же, вежливо похвалил меня за хорошее произношение, после чего сразу же выпустил в мою сторону пулеметную очередь неразборчивых звуков, среди которых я улавливала лишь отдельные знакомые слова. Надо признать, что китайскую речь неопытному студенту понимать довольно сложно, не в последнюю очередь из-за обилия местных диалектов, которые влияют на общепринятое произношение путунхуа, а также огромного количества слов-омонимов, которые звучат одинаково, но в разных ситуациях обладают совсем неодинаковым смыслом. Один из наглядных примеров, которые китайцы очень любят приводить, это фразы: «Xǐǎojiē, **shuǐjiǎo** duōshǎo qián yī wǎn» и «Xǐǎojiē, **shuǐjiào** duōshǎo qián yī wǎn». Обе будут звучать как «Сяоцзе, **шуйцзяо** дошао цянй и вань?», и только в зависимости от того, какими тонами<sup>1</sup> ты их произнесешь, смысл изменится от

---

*Воропаева Анна Владимировна* — китаистка. Родилась во Владивостоке в 1983 году, окончила факультет востоковедения ДВГТУ по специальности переводчик китайского языка и магистратуру Университета иностранных языков в китайском городе Далянь. Более 10 лет прожила в Китае. В настоящее время живет во Владивостоке, работает переводчиком и преподавателем китайского языка, занимается научной работой.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 9.

<sup>1</sup> В тоновых, или тональных языках, каковым является китайский, каждый слог произносится с определенным тоном (то есть высотой звука), от которого меняется смысл слова. Тон — не то же, что интонация, то есть изменения высоты звуков на протяжении сравнительно большого речевого отрезка (высказывания или предложения).

«девушка, сколько стоит тарелка пельменей с бульоном?» до «девушка, сколько стоит ночь?». Да еще и слово «сяоцзе» (девушка) имеет двоякий смысл. Либо просто девушка, либо девушка непристойного поведения. Вот и улавливай, бедный иностранный студент, смысл тонов, омонимов и что конкретно имел в виду говорящий.

Но одно остается неизменным: китаец не будет китайцем, если не похвалит лаовая<sup>1</sup> за его прекрасные навыки владения китайским языком буквально после первой же фразы «ни хао», то бишь «привет». Как выяснилось позже, китайцы таким образом изначально демонстрируют свое дружелюбие и расположенность к собеседнику.

Оказалось, что я не одна, кого встречает студент-волонтер. В компанию мне посадили совсем молоденького парня, армянина, который был несказанно рад, что хоть кто-то здесь, на чужбине, говорит знакомыми словами, то есть по-русски. Выяснилось, что зовут парня Ашот и он первый раз в Китае. В Армении Ашот учил китайский всего один месяц и успел освоить только пиньинь<sup>2</sup>, но родители решили, что этого достаточно и что набираться китайской грамоты лучше непосредственно у носителей этой самой грамоты. Наблюдая за потерянным взглядом парня, я про себя гадала: сколько продержится Ашот в заморских землях...

Все мы когда-то через это проходили, студенты-китаисты, решившие грызть гранит китайской науки в Поднебесной. И тут два варианта: ты либо уезжаешь через пару месяцев на родину и вспоминаешь о пережитом культурном шоке, как о страшном сне, либо влюбляешься в эту страну всем сердцем, до мурашек, до слез при разлуке и ощущения, что дышать полной грудью ты теперь можешь, только почувствовав этот экологически нечистый воздух, перемешанный с яркими ароматами китайской кухни. Безусловно, я давно относилась ко второму варианту, хотя культурный шок в свое время тоже пережила.

Пребывая в воспоминаниях о былом, я вдруг услышала непривычный моему уху гвалт. На китайский жэнао у меня давно выработался иммунитет. Вы спросите, что такое «жэнао»? На русском языке сложно подобрать правильное слово для перевода. Можно сказать «шум», но при упоминании этого слова у русского человека возникают скорее отрицательные эмоции, у китайцев — наоборот. Представьте себе этакий китайский базар с утра пораньше: продавцы громко расхваливают свой товар, покупатели эмоционально торгуются, шум, лязг, звяк, — и все это сопровождается детским плачем, игрой какого-нибудь дедушки на традиционном эрху<sup>3</sup>, и при этом все бодры, веселы и счастливы. Вот это и есть китайское «жэнао». В Китае всегда очень шумно и оживленно. Китайцы любят, когда громко. Громко — значит, жизнь бурлит, а люди полны сил и энергии.

Но этот гвалт отличался от уже привычного мне. Тут речь звучала еще более эмоционально, чем у китайцев. Подняв взгляд, я обнаружила, что студент-волонтер только что встретил группу девушек-итальянок. С огромными чемоданами, некоторые с двумя, они все как одна улыбались, оглядывались по сторонам и радовались как дети. «Это вам не богатая опытом русская с выражением “знаем, плавали” на лице», — подумала я, мне стало смешно, и я невольно улыбнулась новым знакомым. Позже я узнала, что девчонки приехали всего на один семестр, а в чемоданах они везли с собой кусочек Италии, то бишь спагетти, пасту, ну и еще кое-что из утвари — на всякий случай, если вдруг Китай окажется не от мира сего.

<sup>1</sup> Иностранец (*разг.*).

<sup>2</sup> Пиньинь — стандартная система транскрипции китайских иероглифов латинскими буквами.

<sup>3</sup> Старинный китайский струнный смычковый инструмент, оригинальная двухструнная скрипка с металлическими струнами.

Университет любезно предоставил нам большой новенький автобус, куда мы всей многонациональной компанией и загрузились.

Усевшись на переднее сиденье, я в предвкушении уставилась в окно. Как оказалось через несколько минут — опрометчиво. Водитель сунул в зубы сигарету, закурил и завел мотор. По салону распространился «аромат» китайского табака, заиграла мелодичная традиционная композиция, и мы покатали.

За окном замелькали стеклянные небоскребы, жилые комплексы, похожие на замки, огромные торговые центры с рекламными плакатами, на которых красовались азиатские знаменитости, яркие вывески кафешек, парикмахерских, фруктовых и овощных лавок.

Выехав на скоростную трассу, автобус прибавил скорости. Причем хорошо так прибавил. Китайские водители славятся своей манерой вождения «разгонись, обгони по встречной прям в лобовуху и не забудь посигналить погромче: чем оглушительней у тебя фа-фа, тем ты главнее», и все эти маневры обязательно выполняются с прижатым к уху телефоном.

По обеим сторонам мелькали аккуратно стриженные деревья и кособогоры, пестревшие пышно цветущими кустами. По дороге встретилось несколько колоритных стареньких китайских деревень с домами под покатыми крышами. В поле моего зрения попал дедушка, ведущий под уздцы измотанного работой ослика. Ослик послушно тащил телегу, полную каких-то коробок.

Как и было обещано на сайте университета, всего через полчаса езды мы оказались у ворот моего дома на следующие четыре года.

### **Приятно познакомиться, давай дружить!**

В офисе, отвечающем за оформление проживания студентов, было очень «жэнао». Протолкнувшись к стойке, я протянула свои документы миловидной китайке. Увидев мою национальность, она радостно обратилась ко мне по-русски с легким китайским акцентом: меня зовут Лиля, давай дружить, если тебе что-то нужно — только скажи!

Дружелюбие Лили меня не удивило. Дело в том, что девочки, помогающие оформлять новобранцев, — это китайские студентки-волонтеры, изучающие иностранные языки в местном университете. А волонтерство — не что иное, как шанс познакомиться с носителем языка и по схеме «давай друг другу поможем: я буду учить тебя китайскому, а ты меня своему языку» заключить так называемую «китайскую дружбу». Нам, русским, которые ценят дружбу, потому что это взаимное расположение, потому что «друг — это от души», может быть поначалу не совсем понятно, как это дружить «для достижения своей цели». И многие русские студенты расценивают такого сорта дружбу как «использование». Такой уж у нас менталитет. Поэтому с русскими студентами китайцам довольно сложно «подружиться». Мы обычно держимся особняком, общаясь между собой, а не с носителями китайской культуры, что, по мне, довольно печально. Мол, только дай свой телефон, как эта «подружка» сразу же задолбает тебя своей настырностью.

Почему китайские студенты, да и не только студенты, кажутся нам порой навязчивыми? Все очень просто — их много. Чтобы выжить в жестком мире конкуренции, им приходится стучаться в закрытые двери множество раз, и их совершенно не волнует, что о них подумает или не подумает друг-лаовай. Хорошо это или плохо? Каждый, наверное, рассудит по-своему, о себе же скажу: иногда я завидую целеустремленности китайцев.



*Юрий Каграманов*

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОЛЕМИКЕ

## Как не попасть в «ловушку Фукидида»

Как мы узнаем всех друзей,  
Которых встречаем на странных дорогах?

*Эзра Паунд*

Термин «ловушка Фукидида» стал за последнее время расхожим в среде экспертов по внешней политике по обе стороны Атлантики, но главным образом в Соединённых Штатах. Знаменитый греческий историк не изобрел ловушку, о которой речь, он просто описал ее, как он ее понимал, в своей «Истории Пелопоннесской войны». По его мнению, в ловушку попала тогда Спарта, чья гордыня не снесла возвышения Афинской республики и побудила начать с нею войну, которая оказалась необычайно долгой (продолжалась почти тридцать лет: с 431 по 404 г. до Р.Х.), а главное, непредвиденно жестокой и разрушительной. И хотя война закончилась победой спартанцев, но в конечном счете непоправимо ударила и по ним самим.

Что современную историю объясняют через далекого во времени Фукидида, для американцев естественно: у них особое отношение к истории. «Пилигримы», высадившиеся когда-то на земле, не знавшей истории, «выпали» из последовательного хода событий у себя на родине и собственное бытие стали объяснять через те события, которые описаны в Ветхом завете (фундаменталисты и сейчас так поступают), что соответствовало «ветхозаветному смещению» в их пуританской религиозности. Но в процессе секуляризации память о греко-римском мире оттесняла библейское прошлое. Вот и теперь, оценивая положение дел в мире, усматривают его прецедент, прообраз, эйдос и как бы предупреждение в Пелопоннесской войне, которая оказалась губительной для Греции в целом, для всей эллинской цивилизации, а в Афинах положила конец Золотому веку аттической культуры (лишь пережитки его пришли на следующий век).

Считающийся главным журналом по внешней политике деловитый Foreign Affairs выступает (в номере от 20 июля 2020 года) со статьей под куда как эмоциональным заголовком: «Боже, только не новая Пелопоннесская война!»

Аналог той драмы обычно видят в нарастающем противостоянии Соединённых Штатов и Китая. В положении спартанцев находят себя американцы: Китай обещает в самом скором времени обойти их, уже обходит по основным показателям, по которым можно судить о могуществе государства. Это они могут не стерпеть возвышения соперничающей державы и угодить в «ловушку Фукидида», начав губительную войну.

Ситуативное сходство усиливает афинская чума (исследователи допускают, что это была какая-то другая эпидемия, но по описываемым признакам, скорее всего, это была именно чума). Уже на второй год войны «бог из машины» или попросту Бог наслал на соперницу Спарты чуму, от которой умерло, по разным оценкам, от четверти до трети населения Аттики, сгрудившейся за стенами Афин. Погасла «звезда»

афинской демократии: умер Перикл со всей его семьей. Фукидид, сам афинянин и участник войны, оставил описание ужасов эпидемии и подвел ей итог: «Самым страшным во всем этом бедствии был упадок духа» (2,51). И далее: «Сломленные несчастьем люди, не зная, что им делать, теряли уважение к божеским и человеческим законам» (2, 52). Считают, что чума в большой мере предопределила поражение Афин в войне.

В этом аспекте, если уж проводить параллель с современностью, в ситуации Афин оказываются Соединенные Штаты. Пандемия коронавируса охватила весь мир, отчего она и называется пандемией, но по американцам она ударила несопоставимо сильнее, чем по китайцам (по данным на середину лета 2021 года в США умерло от коронавируса примерно в сто пятьдесят раз больше, чем в Китае).

Но понятие «ловушка Фукидида» применимо не только к нынешним отношениям между Китаем и США. Серьезные ученые, в небольшом числе еще остающиеся на Западе, находят его универсальным и применимым ко всем временам: это когда глаза заливают эмоции по меньшей мере сомнительного происхождения, не позволяющие видеть вещи в их настоящем свете, а рука уже тянется к оружию.

Такого рода слабость не свойственна была самому Фукидиду: его отличают трезвость, стремление к столь возможно объективному освещению событий, независимо от личных своих пристрастий как афинского патриота. Его иногда называют провозвестником Realpolitik, но это не совсем верно. Realpolitik (термин, родившийся в середине XIX века в Германии) оправдывает применение силы в отношениях между царствами-государствами, а Фукидид не оправдывает его морально, а только считает его неизбежным, что не совсем то же самое.

## *Старые счёты и Новый Икар*

Обратимся к тому, что ближе: к «своей рубашке». Обстановка, когда «в воздухе пахнет грозой», обязывает внимательнее присмотреться, с кем нам по пути, а с кем нет.

Каждый, кто следит за новостями и смотрит бесконечные ток-шоу по телевизору, знает, наверное, кто ныне России недруг или, скажем иначе, противник и кто друг, а кто «не друг и не враг, а так» (этих большинство). Между тем расклад политических сил в мире не вполне соответствует, а то и прямо противоречит расстановке духовных, культурных сил; так что не будет ничего удивительного, если уже в недалеком будущем окажется «враг вдруг друг», и наоборот.

Покойный Сэмюэл Хантингтон в своей известной книге «Столкновение цивилизаций» (1996) посчитал, что основные разломы, чреватые конфликтами, пролегают по границам цивилизаций. Две из них, исламская и китайская, находятся на подъеме, тогда как западная пребывает в состоянии кризиса. И главный ее враг — мир ислама. «По сравнению с продолжительными и глубоко конфликтными отношениями между исламом и христианством, — писал Хантингтон, — конфликт XX века между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом является всего-навсего быстротечным, даже поверхностным историческим феноменом». Имеется в виду, конечно, конфликт Запада и СССР, слава Богу, не дошедший до войны. В своем времени Хантингтон еще не мог предвидеть, до какой степени напряженности дойдут взаимоотношения Соединённых Штатов и Китая.

Есть некоторое противоречие у Хантингтона. Он рассматривает православную цивилизацию, иначе называемую еще русской или евразийской, как отдельную от западной. Таковую ее видят сегодня и многие наши соотечественники. Но в этом сказывается, в частности, переоценка географического фактора. Геософия (употребим этот термин, обнимающий все прочие с приставкой «нео») явилась важным открытием прошлого века, в истолковании исторических реальностей без нее уже не обойтись.

Но как ни важны воспарения земли, веяния духа еще важнее. Христианство, например, в свое время распространилось на огромной территории от Лапландии до верховьев Нила, в физико-географическом отношении предельно разнообразной, всюду сохраняя неизменной свою сущность, по крайней мере до поры до времени. То же можно сказать и об исламе. Качество духовности лишь в ограниченной степени определяется ее *седалищем*.

«Оберегайте ваше небо, не прозевайте вашу землю!» — призывал соотечественников знаменитый афинский оратор Демад. Небо, заметим, даже у этого язычника на первом месте.

Еще неувязка. Если классифицировать цивилизации по религиозному признаку (как оно и следует), тогда придется вспомнить, что в XVI веке западная цивилизация раскололась на две части, католическую и протестантскую. А католичество гораздо ближе к православию, чем к протестантству. Лишь с течением времени общее поле культуры (значение которого возрастало с прогрессом секуляризации) вновь сблизило католиков с протестантами. Но и Московское православное царство еще до Петра I начало осваивать это поле, а в дальнейшем русские стали на этом поле его полноправными совладельцами. В чем сыграла важную роль русская аристократия, ставшая культурно близкой к европейской. Хотя в то же время именно аристократия, вообще дворянство было у нас носителем патриотических настроений, в критические моменты воинствующе-патриотических. И так до самой революции.

Современная Россия — бесспорная часть общей евро-американской цивилизации, хотя и очень своеобразная (такова была точка зрения и самых сильных русских умов еще в первой половине прошлого века). Хантингтон сам себе противоречит, когда, с одной стороны, выделяет Россию в особую цивилизацию, а с другой — рассматривает Холодную войну как внутрицивилизационную, что, конечно, справедливо; в самом деле, ведь не Россия родила марксизм-ленинизм, он пришел с Запада.

В год, когда вышла книга Хантингтона и когда сплошной бурелом занимал место отошедшего СССР, трудно было представить, что возникнет новый внутрицивилизационный конфликт. На поверхности он выглядит, как вторая Холодная война — между Западом и съжившимся до размеров РФ Востоком. В отличие от первой она остается целиком на совести Запада.

В политике Москвы по отношению к Западу в конце 80-х — начале 90-х соединились разные мотивы (среди них и специфические интересы определенной части номенклатуры), но было в ней и великодушие: «мы уступаем вам во всем, давайте отныне дружить», «мы вас любим, любите и вы нас». И что же мы получили в ответ? Нас стали постоянно задирать, мы получили методическое продвижение НАТО на Восток и демонстрацию тяжести натовских кулаков. И только когда замаячила перспектива американской базы в Крыму и американских ракетных установок в сотне километров от Курска, Москва перешла к действиям, которые на Западе называли агрессивными и которые по сути были оборонительными.

В чем причина столь неадекватного реагирования на крутой поворот в политике СССР-России? Полагаю, что главная причина заключалась в эмоциональной сфере (прихожу к этому выводу, основываясь на публикациях неоконсерваторов, определявших — тогда, как и сейчас, — внешнюю политику США): это была досада — оттого что Россия сама в себе сокрушила коммунизм, «отняв победу», хотя бы и призрачную, у бравых американских парней (хотя кто кому накомылял бы в случае войны, большой вопрос). Характерная «ловушка Фукидида».

Была и чисто рациональная причина. Неоконсерваторы были озабочены происходящим нравственным разложением американского общества и, не находя внутренних ресурсов, которые могли бы остановить этот процесс, рассчитывали, что наличие внешней угрозы хотя бы отчасти поддержит моральный тонус нации. По некотором размышлении они решили, что им выгоднее иметь в лице России не вассала (к чему дело шло), а противника.

А европейские интеллектуалы, в их числе и те, которых в не столь отдаленные времена восхищало все, что происходило в СССР, в своем отношении к новой России следуют определенной традиции. Когда-то Герцен в письме к Жюлю Мишле писал о «старческой рассеянности», с которой европейцы спутывают все сведения о России. Тем же грешат и нынешние европейцы — не все, конечно, но те, кто преобладают в media и во властных структурах. Нынешней России приписывают агрессивность СССР, хотя те наши действия, которые расценены ныне как агрессивные, явились необходимым ответом на их действия.

И так получается, что их реакция на течение дел в нашей стране отзывается у нас реакцией на их реакцию. Вновь пересматривается история. Берется под защиту многое из того, что подверглось справедливому порицанию в годы перестройки. Не в последнюю очередь это относится к советской внешней политике, отравленной идеей мировой революции, — при том, что в стране последние остатки революционизма были подавлены.

Нынешнее несправедливое отношение западных властителей к России опрокидывается у нас в прошлое: говорят об извечной русофобии, якобы отличающей Запад. На самом деле русофобия там периодически вспыхивала, но по мере того, как русские научились рассказывать о себе, она все больше перекрывалась русофилией: от Райнера Мария Рильке, нашедшего в России, по его словам, свою духовную родину, до Торнтон Уайлдера, устами одного из своих героев (в романе «День восьмой») сказавшего: «Русские — лучший народ в мире» (примеры подобного рода русофилии легко можно было бы множить). И на политическом уровне русофобия далеко не всегда давала о себе знать. Выражение «Англичанка гадит», отразившая естественное соперничество двух великих держав, дошло из прошлого, но в реальности отношения с Англией были переменчивыми; показательно, что мы один-единственный раз воевали с этой страной, зато пять раз в союзе с ней — трижды против Франции и дважды против Германии.

Еще печальнее видеть, когда наши соотечественники возвращаются в старые пролежни, видя во второй Холодной войне просто продолжение первой. На самом деле смысл нового противостояния — радикально отличный.

Всякий конфликт может иметь целый ряд причин. Это могут быть геополитические интересы, те или иные прагматические соображения, укоренившиеся ресентименты, наконец, просто недоразумения и случайности. Рабле, изобразивший в своем романе, как лернейские пекари из-за пустяков повздорили с синейскими виноградарями, отчего король Пикрохол, впавший в неистовство при виде сломанных корзин и раздавленных лепешек, развернул свою орифламму и попер войной на свояка, короля Грангузье, лишь слегка окарикатурил то, что происходило и происходит в реальности.

Пришла пора, не попадая в «ловушку Фукидида», трезво рассудить, каковы должны быть наши отношения с Западом. Изначальная вина за новую Холодную войну лежит на американцах, чьи опрометчивые действия вызвали у нас довольно естественную, хотя и не всегда адекватную реакцию. Но с течением времени из области недоразумений мы вступили в область реальных противоречий.

Не только недоразумения поучаствовали в возникновении новой Холодной войны. «Старческая рассеянность» не помешала Западу (речь идет опять-таки о властных структурах и мейнстримных media) разглядеть, что в лице России созревает идейный противник. В последние полвека Запад переживает антропологическую революцию, по своим последствиям более разрушительную, чем наша социальная революция, инициированная большевиками. На сей раз марксизм (с приставкой «нео» или без нее), «обогащенный» фрейдизмом, ставит целью переделку самого человека, в плане его психофизиологического устройства, что не может не привести к самым печальным последствиям.

## «Я хочу рассказать вам...»

*Литсобытие-2021*

*Личный выбор Евгения АБДУЛЛАЕВА, Николая АЛЕКСАНДРОВА, Марка АМУСИНА, Ольги БУГОСЛАВСКОЙ, Ольги ДЕВШ, Натальи ИВАНОВОЙ, Константина КОМАРОВА, Константина МИЛЬЧИНА, Николая ПОДОСОКОРСКОГО, Валерии ПУСТОВОЙ, Алексея САЛОМАТИНА, Елены САФРОНОВОЙ, Александра ЧАНЦЕВА*

«Я хочу рассказать вам...» — 15 лет назад из этого замечательного признания Ираклия Андроникова (заглавие цикла его устных рассказов) родилась традиция «ДН» в первых номерах подводить итоги прошедшего литературного года.

Со временем правила игры поменялись. Очередной год предлагал сквозные темы и свои ключевые образы и слоганы. Теперь писатели и критики (а позднее и литературные блогеры) не просто делились личными впечатлениями — как «первые читатели», — они совместными усилиями отбирали «главные» тексты и вычисляли магистральные тенденции.

Так бы, наверное, все и шло, столкновение мнений плодотворно, однако последние несколько лет стали временем какого-то нескончаемого составления рейтингов и подведения итогов и в бумажной периодике, и на литературных сайтах — теперь уже подводят итоги не только года и десятилетия (общие и по жанрам), но и полугодия. И мы решили отойти от устоявшейся традиции и вернуться на круги своя.

Мы предложили литературным критикам рассказать, выбрав, желательно, что-то одно, о том, что было пережито ими как личное событие, связанное с литературой: будь то журнальная публикация (любая — рассказ, стихотворение, мемуары, статья, рецензия), книга (прочитанная или перечитанная), писательская судьба, некий проект, встреча с читателями или чья-то яркая мысль, важная для понимания современной литературы и нас сегодняшних. То, чем обязательно хочется поделиться, с чем познакомиться, согласиться или поспорить, о чем не позволить забыть и предложить подумать.

Год был богат радостными и горькими сюжетами — но критики предпочли книги. Одну или две. Не только новые. Вовсе не те, что у всех на слуху и входят в премиальные списки. Исключение — Константин Мильчин: щедрая душа, он решил поделиться с читателями целым списком прочитанного. И хоть и лаконично, но убедительно мотивировал выбор. Вот с него и начнем — для обозначения контекста.

*Константин Мильчин (г. Москва)*

## «Я, в принципе, был в курсе...»

За 2021 год, который еще не закончился, я прослушал порядка 300 книг и еще примерно 30 книг прочитал традиционным способом. Попытаюсь коротко перечислить те, что зацепили меня больше всего. «*Лесков. Прозванный гений*» Майи Кучерской. Не просто биография писателя, но книга, для которой Кучерская попыталась придумать специальный язык. Не все в этом тексте идеально, но некоторые главы настолько прекрасны, что перекрывают собой все недостатки. «*Значит, ураган*» Максима Семеляка. Когда начинал читать, то думал, что это биография Егора Летова. А оказалось, что это, строго говоря, автобиография Семеляка, который рассказывал, как на разных этапах своей жизни слушал «Гражданскую оборону» и как воспринимал эти тексты. И это прекрасно. Из совсем свежего — «*Страх и надежда: Как Черчилль спас Британию от катастрофы*» Эрика Ларсона. Биографий Черчилля довольно много, только одна «Альпина нон-фикшн» выпускает что-то черчиллецентричное примерно раз в год, но тут не вся жизнь стайного Уинстона, а всего лишь один год, с мая 1940 по май 1941 года. Как политик с ужасной репутацией и почти полным отсутствием маломальских успехов в биографии оказался нужным человеком в нужное время в нужном месте. Из прозы на меня неожиданным образом очень сильное впечатление произвел «*Истребитель*» Дмитрия Быкова, при том что предыдущий «Июнь» мне совсем-совсем не понравился. А тут попытка посмотреть на Сталина и 1930-е совсем не так, как это ждут от Быкова. Что же касается прозы относительно новых авторов, то отмечу «777» Кирилла Рябова, мрачный почти боевик о русской безднадеге. Думаю, что через пару романов Рябов созреет до какой-нибудь крупной литературной премии. Ну или премии дозреют до Рябова. Перечислим через запятую какое-то количество романов российских авторов, которых обделили в этом году премии: «*Смерти.net*» Татьяны Замировской, «*Мама!!!*» Анастасии Мироновой, «*Типа я*» Ислама Ханипаева, «*Павел Чжан и прочие речные твари*» Веры Богдановой. Из переводной прозы, пожалуй, самое сильное впечатление на меня произвел роман тайваньской писательницы Линь Ихань «*Первый сад райской любви*», одновременно безумно красивый и нечеловечески страшный. Среди неновых книг вне конкуренции «*Пятеро*» Владимира Жаботинского. Я, в принципе, был в курсе, что в свободное от сионизма время один из идейных основателей Израиля был хорошим русским писателем, но я даже не подозревал, насколько Жаботинский был тонок и остроумен.

*Евгений Абдуллаев (г. Ташкент)*

## «Тот, кто думает, всегда один»

Наверное, я обречен остановиться именно на этой книге. И выбрать ее для разговора о прошедшем литературном годе. Я люблю фламандскую живопись. Я люблю философские романы. Мне нравится медитативное, неторопливое, «воспоминательное» письмо Алексея Макушинского.

Поколение родившихся в начале 60-х входит в возраст памяти. Появляются воспоминания о студенческой и богемной Москве их молодости, Москве начала

80-х (почему-то именно о Москве). Нон-фикшн «Своё время» Александра Бараша. Романы «Душа моя, Павел» Алексея Варламова, «Бюро проверки» Александра Архангельского.

Теперь — «Один человек» Алексея Макушинского, вышедший в «Эксмо».

Безвременье всегда располагает к тому, чтобы остановиться и сделать глубокий философский вдох.

Философично в «Одном человеке» всё, начиная с названия.

*Один*, потому что одинок. Одинок, как и все герои Макушинского. И романы его тоже, в основном, об одиночестве: такой длинный, чуть приглушенный монолог *одного человека*. Монолог о себе, — хотя наряду с повествователем у Макушинского всегда присутствует некто Другой. Старший и более умудренный товарищ. Яркая личность, внутренний собеседник. Макс в дебютном «Максе». Двигубский из «Города в долине». Воскобойников в «Пароходе в Аргентину». В нынешнем романе — Яс (от инициалов «Я.С.», «Яков Семёнович»).

Весь «Один человек» и есть воспоминание об этом Ясе, старшем друге, покровителе, наставнике. Ученый-искусствовед, мыслитель, полудиссидент. Потрясающий любовник. При этом — с колоссальной практической хваткой, живущий на широкую ногу. Вдобавок удачливый собиратель антиквариата; замечательный, хотя и несостоявшийся художник. Еще и успешно промышляющий контрабандой предметов искусства.

Соединение таких разнообразных и вроде бы исключаящих друг друга талантов и занятий в одном человеке кажется несколько избыточным и неправдоподобным. Но рассказчику (и автору) веришь. Да, мог, наверное, встречаться в Москве начала 80-х и такой психологический тип. Ныне благополучно вымерший, что поделать... Чем более объемными становятся сегодня звук и изображение, тем почему-то одномернее люди.

Яс присутствует только в воспоминаниях: умер в 2004-м, за пятнадцать лет до событий, происходящих в романе (событий, впрочем, в романном «сейчас» почти не происходит). Но при этом, возможно, он, Яс, самый живой. И — повторяю — объемный. Существующий в перспективном пространстве живописи эпохи Возрождения — северным, фламандским ответвлением которой он и занимался.

«...Перспектива открыла человеку соразмерный ему мир: мир, в котором он может существовать, жить и думать, не как вообще человек, но как вот этот определенный человек, вот этот *я* или вот этот *ты*. Человек на картинах ван Эйка и Рогира... уже — сам, уже — самость, он не сомневается в своей самости, радуется своей самости...»

Так рассуждает Яс на одной из своих домашних лекций для «посвященных».

Таков и сам Яс — «самость, радующаяся своей самости». Человек Возрождения, возникший в холодной Москве восьмидесятых.

Остальные герои — на его фоне — более блёклые, одномерные. Довозрожденческие или, скорее, принадлежащие уже эпохе модерна, когда — как сообщал Яс на тех же лекциях — «...перспектива исчезает, распадается образ мира — и образ человека распадается вместе с ним».

Таков — распадающийся и одномерный — и сам повествователь. Мы не знаем его имени; лишь ближе к концу, по случайной проговорке, догадываемся, что его зовут Константин. Он где-то учится: вначале на философском факультете МГУ (как и герой «Бюро проверки» Архангельского, но, в отличие от него, движется не к вере, а к еще большому безверию), потом переводится на матфак в Ярославский университет, потом занимается программированием... Но мы не видим его в аудиториях ни МГУ, ни Ярославского матфака; а о том, что он программист, да еще успешный, и вовсе узнаем под самый конец (как и о его имени): ничего связанного с этой профессией его длительные монологи-реминисценции не содержат. Они наполнены Другим. Там, где должно быть *я* героя-повествователя, всякий раз оказывается *Яс*: его личность, его харизма.

Мы не знаем и настоящего имени подруги повествователя (Константина, стало быть), с которой он бесконечно едет. Сначала по Германии, потом по Бельгии, точно спасаясь от чего-то. Он называет ее Жижи. «Ты права, Жижи...» «Садись за руль, Жижи...» Так звали девочку-сироту из старого бельгийского фильма «Чайки умирают в гавани», который он когда-то посмотрел (благодаря всё тому же Ясу).

Присутствуют еще две его женщины — юношеская любовь Мара (Марина) и жена Карина. Но первая насквозь искусственна («Что-то механическое, что-то от заводной куклы появлялось в ее движениях...»), лишь изредка — сквозь истерики и маски — в ней проглядывало что-то живое — и тут же исчезало.

Что же до второй — более «человечной» — Карины, то она появляется *ex nihilo* на последних страницах, словно только для того, чтобы внести некоторую ясность в биографию повествователя и тут же угаснуть в онкологической клинике...

А на ее месте возникает молчаливая Жижи. Возможно, и говорящая — но «за кадром»: в роман ее реплики не проникают.

Повествователь (все-таки не могу его назвать Константином) и Жижи едут в Бельгию, в Гент, чтобы попасть на последнюю предковидную выставку ван Эйка — потому что «мир скоро закроют».

«Закроют границы, закроют гостиницы. Заодно закроют и выставки».

Так оно, в общем, и происходит. На выставку они не попадают, попадают к морю, в Бланкенберге, где... Впрочем, не буду пересказывать дальнейшие события этого и так не богатого «экшеном» романа. Скажу лишь, что описание их пребывания в Бланкенберге относится к лучшим страницам книги. В них стихия одиночества достигает такой концентрации, что оно становится почти осязаемым. Почти осязаемым на вкус, как бутылка Jägermeister'a, которую повествователь распивает посреди бельгийской ночи с неожиданно встреченной Марой-Мариной... Одиночество как закономерный итог бытия человека, выпавшего и из христианского мира (он несколько раз именуется «последним русским атеистом»), и из соразмерного линейно-перспективного мира Возрождения... И даже из неуютного, но сохранявшего какие-то ренессансные отголоски позднесоветского мира своей молодости: где все же была возможна такая возрожденческая фигура, как Яс.

В мире, по которому мчится на «Астон Мартине» повествователь со своей полуфантомной Жижи, невозможны уже ни христианство, ни Возрождение.

«Была “Мадонна канцлера Ролена”, была “Тайная Вечеря”, был “Ночной дозор”, теперь будет бутылочная сушилка. Сперва был Бог, потом был Бог и человек, потом один человек, теперь не осталось ни человека, ни Бога».

Даже наступающая пандемия и ожидания, что «мир скоро закроют», — лишены в романе апокалиптического привкуса. Этот мир *уже* закрыт, он *уже* неизлечимо болен и невосстановимо разрушен. Не случайно на обложке книги — известное изображение руин Палаты суконщиков в Ипре, разрушенной в Первую мировую.

Единственное, что остается такому постхристианскому, постренессансному и постсоветскому человеку, — только вспоминать. Вспоминать и думать. Как, опять же, учил его многомудрый Яс.

«Человеку свойственно грустить... А человеку, имеющему скандальную привычку думать, стократ свойственно это. Почему? — я спрашивал. Потому что... потому что мысль оставляет человека в одиночестве, наедине с ним самим, лицом к лицу с его собственной жизнью. А что в этой жизни хорошего? Как правило, в ней хорошего очень мало. Мы все от нее убегаем, от себя убегаем. Ах, ты не хочешь убежать? Ну, посмотрю я, как у тебя получится... Он часто говорил это, про одиночество мыслящего. Тот, кто не думает, живет в отрадном окружении незримых спутников, в толпе чужих мнений, заемных слов, в тепле и уюте всеобщего неразумия. Тот, кто думает, всегда один. Один человек».

Читать этот роман трудно, думать над ним — хорошо.



*Николай Александров (г. Москва)*

## Две несвоевременные истории

Эти две истории (или два впечатления) в моем сознании сливаются в одну. Они одновременно и жизненные, и книжные. Сюжетно — они разные. А сходство — даже не типологическое, нет. Общее в них скорее настроение, интуиция, читательская рефлексия, то особенное, иногда мучительное послевкусие, которое возникает после прочтения задевших, ранивших, оцарапавших душу книг. Это не всегда читательский восторг, зараженность мировидением автора, но возбуждение, заставляющее постоянно возвращаться назад, к тексту. Или к мыслям, навеянным текстом, так что книга как будто растворяется в потоке сознания.

Первая книга — «Русские тексты» Юрия Гаврилова, вышедшая в «Самиздате». Юрий Львович Гаврилов — легендарный московский учитель. Он преподавал историю в знаменитой 2-й математической школе, а после ее разгона — в 19-й (уже не математической, а обыкновенной, в которой Борис Петрович Гейдман, еще один удивительный учитель, открыл математический класс, в котором я проучился четыре года).

Это были 70-е, памятная эпоха заката советского режима, с его андеграундным вольнодумством, снисходительным презрением к власти, эмиграцией в Израиль, отказниками, самиздатом и проч. Для меня (и, думаю, не для меня одного) Юрий Львович был символом и выразителем этого времени и не только преподавателем, но действительно учителем. В нем поражали необыкновенная общегуманитарная эрудиция (история, философия, литература) и, наверное, прежде всего сам образ мышления, аристократически-отстраненная, ироничная манера беседы и абсолютная свобода, с легкостью преодолевавшая заскорузлые идеологические препоны. Он как будто и не был школьным учителем. Он был посторонним, гостем, по необходимости, временно оказавшимся здесь, в классе, и читающим нам, попросив отложить учебник в сторону, лекции, которые затем проверялись «историческими диктантами». Забавный жанр. Ученики пытались его пародировать, придумывая вопросы, на которые невозможно ответить, и подсовывая их учителю (в каком платье была Надежда Константиновна, когда впервые повстречала Ленина, — Юрий Львович, кстати, ответил). Шлейф шепотом передаваемой мифологии тянулся за Гавриловым: школа для него всего лишь ссылка, изгнание. Так оно и было.

Из «Автобиографии»:

*«После школы работал экспедитором, затем наборщиком 6-го разряда в типографии «Известия» и учился на вечернем отделении исторического факультета МГУ.*

*В 1964—65 гг. служил военным строителем в воинской части 20184, приданной Министерству среднего машиностроения (ядерное оружие), в закрытом городе Красноярск-26 (ныне Железногорск), на горно-химическом комбинате (подземный завод с тремя промышленными атомными реакторами по производству оружейного плутония и многого другого).*

*В октябре 1965 года был посажен под домашний арест (в казарме) КГБ после допросов по поводу рукописей антимарксистского содержания (попали в КГБ по доносу), но до суда дело не дошло.*

*После окончания МГУ в 1969 году, по настоянию КГБ, не был принят ни в аспирантуру МГУ, ни на работу в институт Истории СССР АН СССР».*

Было известно, что Гаврилов «пишет» и, видимо, не только исторические труды. И он действительно, как показывают и его книги, видел себя писателем. Его писательская судьба не сложилась. При жизни — публикации в «Огоньке» в 1989—91 годах, две главы из воспоминаний в «Отечественных записках» в 2012-м. После смерти — несколько глав из воспоминаний в «Новом мире» (2015, № 6), в сборнике «Место встречи» (АСТ,

2016). В «Самиздате» вышли «Родное пепелище» (2013) и вот теперь «Русские тексты». Все это благодаря усилиям Евгении Вигилянской, Марины Гавриловой, Николая Формозова, Анатолия Голубовского. А сколько еще осталось...

«Русские тексты» для меня особенное чтение. Хотя бы потому, что это голос учителя, облеченный в письменное слово. Здесь всегда есть зазор — между ожидаемым (то есть воспоминанием об устной речи и живом образе учителя) и написанным. Очень часто на письме речь блекнет (так напечатанные курсы лекций Николая Ивановича Либана, гениального преподавателя филфака МГУ, как будто теряют колорит его устных выступлений). То, что «Русские тексты» писались для школьников, вроде бы очевидно. Но в то же время нет. Хотя бы потому, что это неординарные уроки. Это эссе, очерки, заметки, портреты, зарисовки. Главное здесь — первая часть, своего рода мини-курс русской литературы от Аввакума до Бродского, исторические портреты и несколько очерков-зарисовок советской действительности (судьба крестьян затопленной при строительстве ГЭС Мологи, например).

Гаврилов — мастер детали, мастер экспрессивного фактологического письма (в «Родном пепелище» — это завораживающее описание послевоенной Москвы, реалий и примет быта того времени), художественной графики, когда в абрисе, как будто незаконченном рисунке проступает судьба и характер человека. Он может просто процитировать дневник молодого Толстого, его жизненную программу, а затем кратко сопоставить ее с тем, что удалось сделать Толстому в жизни. Может оттолкнуться от одного факта в биографии, как в очерке о Боратынском (кража в Пажеском корпусе), или от одной характерной черты (асоциальность Гончарова), или... Или вот такой фрагмент в эссе о Гоголе:

*«На его надгробии выбиты слова библейского пророка Иеремии: “И горьким моим словом посмеются”. Выходит, и пророки не лыком шиты.*

*Написал я последнюю фразу о пророках, но смутное сомнение не оставляло: а все ли здесь так?*

*Дело в том, что во многих источниках стих из Иеремии приводился в двух вариантах: “посмеюся” и “посмеются”, что означает два разных смысла, а этого быть не может.*

*Чего проще: надо заглянуть в Ветхий Завет. Сказано — сделано: нет таких слов у Иеремии!*

*С молодых лет страдая хроническим занудством, которое при желании можно принимать за дотошность или даже добросовестность, я прочитал всего Иеремию, включая “Плач” его — нет такого стиха! Читаем указанное место, глава 20.8: “Ибо только начну говорить я, — кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние”.*

*Даже самый вольный перевод (а предложивший этот текст в том виде, в котором он выбит на памятнике, славянофил, поэт П.С.Шевырёв был плохим переводчиком и большим путаником) вопля Иеремии не может превратить “слово Господне” в “горькое слово” и далее по тексту.*

*Обнаружив столь произвольное отношение к источнику, я решил посмотреть, а что еще начертано на могильной плите, и впал в недоумение.*

*Судите сами: “Муж вразумливый престол чувства” Притчи 12.23.*

*Что сие значит, какого такого “чувствия престол”? Хватаю притчи и читаю: “Человек умный скрывает свое знание, глупый же кричит о своей глупости”.*

*Как утверждают знатоки древнееврейского языка, переводчик попросту спутал слово “скрывать” со словом “престол”, а знания произвольно перевел как “чувствие”, и получилась абракадабра.*

*Сама ссылка на могильном камне Гоголя на этот стих является недопустимым, непристойным намеком: то ли Гоголь был умен и скрывал то, что знал, то ли на весь свет кричал о своей глупости. Каково?*

*Третья надпись гласит: “Правда возвышает язык” Пр. 14.34. Ну, уж с этим-то все в порядке. Если под словом “язык” понимать литературу, то это — прямо о Гоголе.*

*Не тут-то было!*

*“Правда возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народа”. Нет, не о литературе это и не о Гоголе.*

*Как можно было так обмишуриться: три надписи — три ошибки, даже — выдумки! Как можно было не озадачиться “престолом чувства”. Точно черт (любимый персонаж молодого Гоголя) под руку толкал. И имя этого черта известно: самомнение (Шевырёв был профессором Московского университета) и верхоглядство».*

Гаврилов подчеркнуто субъективен, иногда категоричен в оценках (мог стать русским поэтом, стал нобелевским лауреатом — это о Бродском), но за всем этим стоит, во-первых, фактологическая дотошность, опирающаяся на фантастическую память, а, во-вторых, подлинное переживание события, факта, личности Другого. Это переживание может выливаться в восхищение (Пушкин, Блок), гнев или даже обиду, но оно никогда не мелочно, не завистливо и не высокомерно.

И странное чувство вызывают «Русские тексты». Это не только ностальгическая грусть и чувство безвозвратности (прошлое уходит совсем, исчезает со всем своим содержимым — одна из главных и тяжелых мыслей Гаврилова в конце жизни), но и горькое ощущение несправедливости — как будто время и человеческое внимание (это при стольких учениках!) обошли, обтекли Гаврилова, как будто в полной мере не оценили его. И как будто его тексты, которые должны были жить и читаться раньше, гораздо раньше, запоздали (как роман «Виктор Вавич» Бориса Житкова, вышедший через более чем 50 лет после так и не состоявшейся — тираж был уничтожен — публикации в 1941 году).

«На его шестидесятилетия нас было трое — Юрий Львович, Марина (последняя жена Юрия Львовича) и я», — сказал мне Николай Формозов.

И чтение Юрия Львовича, и воспоминания о нем и о том времени (70—80-е) почему-то связались у меня с еще одной книжкой этого года, с романом Владимира Шпакова «Пленники амальгамы». Этот роман (последний роман Владимира Шпакова) как-то прошел почти не замеченным (если не считать попадания в лонг-лист НОСа и рецензии Елены Елагиной в «Дружбе народов»). А между тем и сам замысел, и сюжет, и построение (прихотливое соединение сюжетных линий, историй двух героев, двух отпавших, отколовшихся от нормы, «нормальности» талантливых молодых людей — Кая и Майи, которые сходятся в финале, как в вершине, с еще одной историей-судьбой — целителя, врача-психиатра Ковача), и тема (душевные болезни и отношение к душевнобольным) заслуживают внимания. Да, роман утопичен (лечение психических расстройств уроками (сеансами) живописи — как панацея и спасение), и финал как будто не вполне удачен. И кажется, что он продиктован современными дискуссиями о психологических травмах, отношении родителей, школы, учителей, врачей, общества в целом к людям, страдающим психическими заболеваниями. Хотя читатель легко найдет в нем размышления и о более общих проблемах, в частности: что такое Я и что значит потерять Я, и кто такой Другой, где его границы, как пробиться, войти к нему?.. Но в моем прочтении, в моем восприятии, роман во многом ретроспективен.

Он как будто воскрешает или отсылает к тем в общем-то недалеким временам, когда и сами психические расстройства, и разговор о них находились под полузапретом, обходились стеснительным молчанием, казались «неудобными», а методы лечения сводились к оглушительным нейролептикам. Это время аминазина и циклодола. И страшный след или наследие этого времени ощутимы до сих пор. Это время рождало чувство мучительной безысходности у близких «больного», взявших на себя груз ответственности за него, и приносило настоящий ад в жизнь самого заболевшего. Точнее так: он вычеркивался из жизни и вынужден был существовать с клеймом отщепенца, ненормального. Его шансы социализироваться, реализоваться были равны нулю. Его таланты не могли быть востребованы, то есть практически не было способов их реализовать. И вот в этом, в изображении давшего трещину в душевном строе мира, для меня главное достоинство романа Шпакова, хотя он, как и «Русские тексты» Гаврилова, рождают, скорее, болезненные воспоминания и мысли.

Марк Амузин (Израиль)

## «Несходство сходного»

Совсем недавно довелось прочесть одну за другой две книги: «Петровы в grippe и вокруг него» Алексея Сальникова (понимаю, что с большим запозданием) и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана. Обе написаны талантливо, но каждая в отдельности «читательским событием» для меня не стала бы. А поразили меня как раз их неожиданные переключки — и резко выраженное «несходство сходного».

Сходное тут в том, что оба автора говорят об обыкновенных, «маленьких» людях России и Швеции, об их тяготах, заботах и радостях (тоже маленьких), а также об одиночестве, тоске, безумии — и стремлении все это преодолеть. Близость эта скорее родовая, общечеловеческая, но есть и частные пересечения: события происходят в северных широтах, в условном Мальме и Екатеринбурге соответственно, и там, и здесь на носу Новый год, а у героев — непростые проблемы.

А вот и различия, как индивидуальные, так и концептуальные. Повествование Бакмана — по колориту не столько шведское, сколько «среднеевропейское». Действие с тем же успехом могло бы разворачиваться в Британии или Греции, но именно и только сегодня. Герои романа поначалу барахтаются на мелководье современной жизни: с игрой надличных сил и факторов, с кризисами финансовых рынков и дороговизной жилья, с многообразными вызовами, которых человек не выдерживает, превращаясь в неврастеника, алкоголика, в пределе — в самоубийцу.

На этом фоне автор выстраивает изощренный псевдо-детективный сюжет, с легким абсурдизмом, загадками и саспенсом, который в финале срабатывает как отпущенная спиральная пружина: распрямляется, снимает все напряжения. Тучи рассеиваются, опасности остаются в прошлом, персонажи, преодолев взаимное отчуждение и открыв лучшее в себе, совместными усилиями спасают героиню, оказавшуюся «на грани». Наступает торжество альтруизма и коммуникабельности.

У Сальникова — похожая нарративная конструкция: изображаются странные фигуры и обстоятельства, связь между которыми проясняется лишь задним числом. И тоже — житейские заморочки, нелепости, комплексы и недоразумения, усугубляемые гриппозным состоянием героев и потому граничащие с кошмаром.

Но насколько все мрачнее, тягучее, безысходнее! Здесь житейскому абсурду искусно придается качество неизбежности, укорененности в природе российского человека и в российской безотрадной природе. Достоевщина поминается на первой же странице книги, а потом дает себя знать разве что зловещим блеском ножа, пусть на окраине повествования, но все же совершающего свое смертоносное дело. Да и суицид в этом романе оказывается намного более гротескным и замысловатым, чем у Бакмана.

А сверх того — инициалы одного из героев романа, окружающих простодушного Петрова, складываются в значащее АИД. И внимательный читатель понимает, что попал не только в вязкую как смола бытовую среду, но и в пространство мифологии, то славянско-языческой, то эллинской, особенно в той ее части, что связана с лабиринтом, Минотавром и загробным царством, где тени витают без памяти и смысла. И никаких спиралей — движение по беспощадно замкнутому кругу.

И понял я: сохраняются еще в нашем унифицированном мире межкультурные различия, ярко проявляющиеся в типах письма, в атмосфере повествования, в привязке к традиции или свободе от нее. Дискретность, прозрачность, благодатная легкость бытия (обретаемые под конец) — против сплошных и душноватых сумерек, насыщенных литературными аллюзиями, озаряемых вспышками безумия да огоньками инферно. И эта разность потенциалов радует: энтропия еще не окончательно победила.

*Ольга Бугославская (г. Москва)*

## История как нравственная проблема

После того как в начале года вышел роман Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце», я перечитала и более ранние его книги, в том числе знаменитый роман «Погребённый великан». Как все знают, речь в нём идёт о коллективной травме и коллективной памяти: Британия, раннее средневековье, саксы живут по соседству с бриттами, все они дышат воздухом, отравленным драконихой и насылающим на людей забвение. Хмарь, окутывающая страну, скрывает память о крайне жестокой войне между бриттами и саксами, которую можно назвать просто бойней. Люди, лишённые памяти, производят впечатление слепых и беспомощных существ, которые, не зная о себе самого главного, мечутся в пространстве наугад и наощупь. Но когда память начинает проясняться, приоткрывая некоторые разрозненные фрагменты прошлого, немедленно всплывают взаимные обиды, претензии, обостряются конфликты, просыпается ненависть, а это угрожает новым витком насилия...

Когда я прочитала этот роман в первый раз, у меня сложилось совершенно определённое впечатление, что в нём рассказана в том числе и история про нас и травму, нанесённую нашему обществу сталинским террором. Мы то ли помним ГУЛАГ, то ли не помним, всё время путаем, кто был прав, а кто виноват, кто преступник — кто защитник и так далее. Поэтому причины и следствия у нас никак не складываются в стройную цепочку. Но второе прочтение убедило меня в том, что ситуация, описанная Кадзуо Исигуро, не похожа на нашу. Для героев романа — саксов и бриттов — случившаяся между ними кровавая резня представляет серьёзную нравственную проблему, хмарь скрывает то, что, будучи вскрытым, будет всеми осознано как преступление. А для нашего общества сталинский террор нравственной проблемы не представляет и как целенаправленное преступление нами не осознаётся. На рубеже 80—90-х годов на свет вышла вся правда о сталинском режиме, НКВД и ГУЛАГе. Страна и так обо всём догадывалась, но открывшиеся документы преобразовали догадки и подозрения в твёрдые знания. Это знание было учтено и осмыслено, но не как информация о преступлениях, а как чётко сформулированные правила игры. Общество ознакомилось с этими правилами, испугалось, но при этом, сочтя, что эти правила изменить нельзя, с ними в целом согласилось. Как люди, живущие в сейсмоопасных регионах, знают, что они могут стать жертвами землетрясения, так и мы знаем, что наша власть, не ограниченная ничем, кроме её собственных представлений о допустимом, имеет все возможности творить любой произвол в отношении собственных граждан. Таковы естественные условия нашей жизни. А естественные условия или стихийные бедствия не могут составлять моральную проблему или ставить перед моральным выбором. При этом нельзя сказать, что жертв террора никому не жаль. Наверное, жаль. Как жаль людей, погибших во время урагана или цунами. «Так ему Бог дал», — говорит известный гоголевский персонаж. В защиту признанного властями «иностранным агентом» «Мемориала» отважно и ярко выступили Людмила Петрушевская, Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Олег Басилашвили, Юрий Шевчук. Петицию в защиту «Мемориала» подписали чуть больше ста двадцати тысяч человек. Приблизительно таково число людей, для кого история террора — нравственная проблема. Большая же часть общества освободила себя от этого груза.

Ольга Девш (г. Дружковка, Украина)

## Взлом системы

О том, что подтолкнуло к пересборке, редко удастся поговорить. Процент стеснения прячется в показатель целесообразности. Литература нынешнего читателя умещается в формулу «прочел/-ла/-ли»: отрапортовать и взять следующую. Литература уходит от собирательного понятия, она есть книга: отдельная, частная, штучная, кастомная. Самиздат — священный джокер, используемый сейчас как каноничный кейс, тот самый случай, который прецедентно мотивирует улавливать капли, а не ловить волну. Успевай только капитошек листать. О воздействии литературного произведения на мир прочитавшего пишем в соцсетях короткие сообщения, утешаясь мгновенностью контакта с сообществом, ответной реакцией, — и по ходу действия догадываемся, зачем человек начал общаться: ради отклика. Чтобы резонировало что-то внутри. Белинский, Добролюбов, Анненский, Тынянов, Чуковский писали не столько о книгах как единицах литпроцесса, сколько о своём понимании их устройства, как и почему они созданы. И главное: что меняют.

Благодаря вопросу «Дружбы народов» я могу рассказать о давно ставшей личным событием — в 2021 году дважды обновленным выходом книг — поэзии Александра Кабанова. Сборник избранного «Обыск» и книга стихов последних двух лет «На слонах и черепахах» вышли осенью. Небольшой разрыв между ними обусловлен иронией книгоиздания и Провидением: «Обыск» должен был состояться в 2018-м. Однако, как любит комментировать в фейсбуке Кабанов: «здесь можно усилить». Две подряд книжки — и выноси готовенького. Двойной хук на языке врага. А готовы далеко не все.

Да, каламбурю я неспроста. Поэзия Кабанова влияет на мою идентичность. Заразительна та игра, которую он ведет. Смотрите. Пуская пыль в глаза словечками вроде знаменитого «п...дотрадалыцы», Кабанов решает проблему внимания: пока читатель с напускным усердием охает над неподобством, его взгляд бежит дальше, исподволь надеясь отыскать еще что-то острое и крючковатое, разумеется, ожидания разок-другой оправдываются, просыпается азарт нашкодившего ребенка, которому ничего не было за предыдущую выходку, предвкушение удивительной жеребятинки растет и ловится каждое слово... как вдруг: «вместо сдачи они повторяют одну и ту же фразу: “Смерти — нет, смерти — нет, наша мама ушла на базу...”» Шалость удалась.

По смежному сходству определить бы ее как гэг. Но в поэзии он многоуровневый, неоднозначный и помогает снижению образа, которым является обычно заложенная в стихотворение правда-мудрость, расщепляемая по обстоятельствам на: а) публицистическое высказывание, б) притчевую мораль и в) философскую истину, чтобы в ключевой момент его же возвысить. Примерно как в американских боевиках, когда главного героя бьют-бьют, забивают до смерти, а он на нечеловеческой силе духа поднимается и всех плохишей побеждает с одного удара. Ладно, с двух. Это необходимо для выполнения заповеди трагедии: бояться и сострадать. Правда, Кабанов заменяет страх на... И тут правильно говорить, отталкиваясь от собственных чувств. Потому что чтение стихов, помимо всевозможных аналитических счетчиков, запускает и ментальные механизмы, слабо поддающиеся считыванию на уровне схем и форм. Всегда следует помнить, что существует highly likely. (В данном контексте этот мем уместен как нигде.) Что именно автор вкладывал, поди узнай, сознание мимикрирует, душа умело прячется.

Однако по принципу остаточного впечатления стихи Александра Кабанова похожи на водку. Пьются сложно, иногда вызывают спазмы глотки и пищевода, но после всасывания в кровь оглушают надолго. Приходишь в себя уже другим.

Декодированным. Если сообразил, о чем стихи. О чем — на самом деле. Их масочная карнавальность так лихо запудривает мозги, что без подготовки ведешься на «новой поэзии сраный веник», не видя под ним того самого ахматовского сора. А он-то из разряда очевидного-невероятного. Хоть и метен по классическим сусекам.

От гротеска и сатирического остранения Кабанову нужен броский фасон, западающая за веко деталь, эпитет-маркёр, ставящий ударение на отвлекающем до поры элементе бэкграунда, чтобы переигранная с огоньком аллюзия, историческая фигурка вуду взяли на себя функции ряженого зазывалы. Знаете, такого, в объемном костюме рекламного персонажа. Нужно это для взлома системы. Нечувствителен стал человек к речи «от сердца к сердцу», мало пронзительности, много эпатажа, экшн-арта травмы и шоковой терапии. Но Кабанов потому и один из лучших современных русскоязычных поэтов, что перешивает приевшиеся одежды понятий ради достижения истинного внутреннего содержания. Чужого/нового мы рассматриваем пристальнее, чем знакомого. И обращаясь к масочной карнавальности (под которой я подразумеваю ее особенности: автономность и мобильность, т.е. надел-снял при необходимости), Кабанову удается преподнести прописные истины как находку, к тому же «наживо». В стихах о войне на (и вокруг) Донбассе и стихотворениях в фейлетонной манере прием совмещения камеры обскура со скрытой камерой во время экскурсии по музею мадам Тюссо осуществлен на ура. И нет предела разочарованию и страданию автора. Мир уехал, цирк сгорел. Осталось умирать и жать на спусковой. Или опомниться и решить:

собираю с каждой фразой то, что склеит нас с людьми, —  
будешь внучкой, будешь вазою, будешь богом, чёрт возьми.

Под ихтиандровыми жабрами всегда дрожат клавиши дульциана<sup>1</sup>. В «На слонах и черепахах» это особенно чувствуется. Пандемия не закончилась, а маски сброшены: поэзия Александра Михайловича приобретает более прозрачную интонацию, и, если услышать, — «это будет изысканный ад, настоящее озеро чада».

*Наталья Иванова (г. Москва)*

## Сильные впечатления-2021

Литература потеряла свой статус «властителя дум» и, самое главное, теряет читателя. А безответной литературы не бывает — скромница сидит в уголке, не видно — не слышно. Да, тиражи падают, не только у литературных журналов они упали в тысячу раз в сравнении с невероятным, правда, взлетом конца 80-х, но и у книг, и не просто у худлита, но даже у массовой литературы — ее теперь можно называть массовой по жанрам, но не по тиражам. Наблюдать этот процесс равнодушно? Не у всех получается. Причем, если бы речь шла только о современной словесности, это бы не так ранило. Но речь идет и о классике, о литературе как таковой. ФБ пестрит душераздирающими снимками мусорных баков, куда скинуты тома собраний сочинений. Недавно была в Алматы, в симпатичном на первый взгляд кафе, где внутренняя стена была сделана из бетона со вбитыми в него навеки книгами, корешком иногда наружу. В общем, строители интерьера не особо старались спрятать — корешки томов

<sup>1</sup> Из-за изменения тембра звучания фагот прежде называли «дульцианом», что с итальянского переводится как «сладкий и нежный».

Пушкина, Чехова, Ильфа и Петрова, какая-то техническая литература, справочники... писатели казахские, немецкие, всякие... целая библиотека вмурована в серый цемент. Такой памятник нечтению, превращение книги в подобие строительного материала.

В этой ситуации те, кто возвращает к книге, и не в плоско иллюстративном, а в неожиданном сценическом прочтении или экранизации, поступают правильно. Верным путем идете, товарищи. Путем перепрочтения и воображения.

В истекшем календарном году, когда все-таки появилась возможность вакцинации, а значит, и осторожной надежды на спасение от смертельно опасного заболевания, нас постарались вернуть к книге театры.

Говорят, что популярнейшая на американском ТВ телеведущая Опра Уинфри в своей ежедневной программе обмолвилась, что ночь не спала, читая роман «Анна Каренина» и решая, выйдет ли Анна за Вронского (шучу, шучу), — на следующий день двадцать миллионов домохозяек раскупили все экземпляры, а издатели бросились допечатывать роман.

Не знаю, не знаю, — но нет у нас телеведущей, сопоставимой по популярности с Опррой, в ином случае сказала бы: идите в театр Вахтангова, смотрите «Войну и мир», поставленную Римасом Туминасом, а после — возьмите в руки роман Толстого. Потому что Туминас (ах уж эти режиссеры-литовцы, замечательно правящие московскими театральными сценами) сделал за пятичасовой спектакль главное: он оживил и вернул нам подлинного Толстого. Не того, в препоясанной рубаше, с длинной бородой, который, шутливо остряня действие, проходит сквозь сцену мимо артистов и иронически их комментирует, и это очень хорошо придумано, снимает пафос, — а Толстого-автора. Здесь надо понимать, что и минимализм (сцены, декораций), и максимализм (грандиозные толстовские смыслы, отчаяние героев в предощущении трагедии и ее неизбежность) Туминасом сопрягаются — в одних сценах. А вопросы, которые задают герои Толстого себе, друг другу и зрителям, — вечно актуальные. В том числе — в литературе. Что есть патриотизм подлинный — и мнимый? Где наша родина, сынок? Что есть красота? Жертва? Амбиция? — И бегом домой, к Толстому, с чувством живейшей благодарности театру, таким спектаклем отметившему свое столетие.

Так же спешишь домой, чтобы ревниво взять из книжного шкафа том Михаила Булгакова с романом «Мастер и Маргарита», культовым, как нынче говорится, романом уже середины XX века, после балета в Большом театре — а поставил приглашенный из другой страны, Словении, Эдвард Ключ. Конечно, хочется думать, что и Толстой, и Булгаков настолько известны, что сюжеты и характеры от зубов отлетают, — но, уверяю вас, это не совсем так. По крайней мере, в напряженном внимании зала витала и проклятая неизвестность: что дальше? Что будет после «Танцев» в Доме Грибоедова? Куда повезут санитары ошеломленных фокусами посетителей Варьете? Как распорядится Воланд балом Сатаны? И все это остроумно срежиссированное и блистательное по хореографии действие стремительно ведет к роману, к чтению, к шелесту страниц, к упоению текстом.

А третье впечатление, сильнее сильных, — это Дмитрий Крымов с его неудержимым театральным реваншем последних полутора лет. «Борис Годунов», «Костик», как и предыдущий «Серёжа» (замысел по «Анне Карениной»), «Дон Жуан, репетиция» — тоже возвращают к книге и книгам. Книгу (новенькую) я и приобрела в магазине «Фаланстер» — книгу Дмитрия Крымова «Своими словами», изданную НЛО. Оказалось, что режиссер и художник, Крымов еще и сочинитель. Он сочиняет свои спектакли и записывает их перед тем как ставить. Там собрано семь таких сочинений, крымских пьес-интерпретаций. Можно прочесть до похода на спектакль, можно и после, чтобы сравнить увиденное с воображаемым тобой лично, когда впервые прочел на бумаге то, что нафантазировал поверх собственных букв Крымов. Книге предпослано предисловие Инны Соловьёвой, старейшины цеха театральных критиков. Меня поразило и ободрило это предисловие — ничего, инда еще побредем, не все потеряно, когда у нас есть такие спектакли, такие книги и такие критики.



*Константин Комаров (г. Липецк)*

## Великолепное словесное кино

Переписка Сергея Довлатова с Игорем Смирновым, опубликованная к 80-летию Довлатова в сентябрьском и октябрьском номерах журнала «Звезда» и снабжённая подробными комментариями и примечаниями редакции журнала, представляется мне объективно одной из наиболее важных, интересных и резонансных толстожурнальных публикаций 2021 года. А субъективно ощущается, пожалуй, самым ярким читательским событием года.

Переписку эту я читал в поезде, на нижней полке, с экрана медленно, но верно разряжающегося телефона и провёл в этом захватывающем чтении целую ночь. Проводнику даже не пришлось меня будить, градус слова, его напряжённость и нерв магнитили, не отпуская, до самого утра.

Этот дружеский разговор в письмах демонстрирует новые грани, аспекты и уровни довлатовского жизнотворчества, позволяет уяснить своеобразность его писательского инструментария, отточенность мыслей и формулировок вкупе с пластичной органичностью и свободой их выражения в динамичном потоке живой речи. Довлатовские метафоры, эпитеты, аналогии (не случайно он писал стихи и слыл мастером экспромта) обнажают поэтичность мышления писателя, которая, объединяясь с виртуозным чувством юмора в диапазоне от абсурдного ситуативного комизма до горьковатой иронии (сквозной в переписке) и уничтожающих инвективных характеристик некоторых современников. Собеседник Довлатова — литературовед и философ Игорь Смирнов блестяще исполняет в этом «дуэте» партию «второго голоса», оттеняя, ограняя, контекстуализируя довлатовские пассажи, придавая им новые смысловые обертоны, особое коммуникативное эхо.

«Мы только с голоса поймём, что там царापалось, боролось», — утверждал Осип Мандельштам. За обращёнными к другу монологами слышится именно голос Довлатова, обнажающий «царапанье и борьбу» и в непростой, полной повседневных чудес, парадоксов и «пограничных ситуаций» литературной среде, и в делах предельно обыденных и житейских, и в душе самого писателя, который не идеализирует своё американское бытование. Однако трезвый, грубовато-скептический (вспоминается примечательное наблюдение Александра Гениса о том, что Довлатова, в отличие от Венедикта Ерофеева, водка не пьянила, а «трезвила») взгляд на эмиграцию никак не облегчает осмысление мрачноватого сюрреализма, происходящего на покинутой родине, но лишь отчетливей его высвечивает.

Об историко-литературной значимости публикации и говорить не приходится. Вот только небольшой отрывок о дне рождения Иосифа Бродского, позволяющий, однако, оценить и грубоватую нежность речевых жестов Довлатова, и лавинообразную витальность интонации, и детальную цепкость его зрения, и бронебойную точность портретных и поведенческих характеристик, и умение ухватить в частности и нюансах — главное:

«Из знаменитостей на дне рождения были — Сюзанна Зонтаг, из левого студенчества 60-х годов, а также — Барышников, который пришел с таксой. Еще мелькали какие-то неизбежные американцы — редакторы, слависты и т.д. В основном же собралась ленинградская публика в таком составе, что отсутствие твое, Попова или Вольфа как-то даже ощущалось. Вообще, Иосиф постепенно уяснил, что никто не будет так его любить, как ленинградские знакомые».

Эпистолярный диалог Довлатова и Смирнова — великолепное словесное кино (переплетающее в себе и комедию, и фарс, и триллер, и детектив, и, разумеется,

анекдот), не только красочно и объёмно показывающее читателю, как неприхотливый быт силой творческого остранения преобразуется в художественное бытие, не теряя при этом своей фактографической документальной основы, но полноценно вовлекающее читателя в этот процесс.

Настоятельно рекомендую к прочтению.

*Николай Подосокорский (г. Великий Новгород)*

## «Бабочка» Крошки Ру

В феврале этого года мне как приглашенному эксперту литературной премии «НОС» довелось принять участие в публичных дебатах о коротком списке премии. Наиболее впечатлившим меня автором, вошедшим в шорт-лист, стал писатель Рагим Джафаров с романом «Сато». Главную награду он не выиграл, но зато получил приз читательских симпатий. Тогда я понял, что надо приглядеться к творчеству Джафарова повнимательнее, и его следующая книга «Картина Сархана» (М.: Клевер-Медиа-Групп, 2021) меня не разочаровала. В ней, как и в «Сато», так же раскрывается психологический дар автора.

Самое интересное в книгах Джафарова (а я успел прочесть «Сато» и «Картину Сархана») — это диалоги героев, наполненные тонкой иронией, здоровым юмором, ощущением зыбкости окружающей реальности и большим вниманием к, казалось бы, самым проходным деталям. Джафаров может создать увлекательную микроисторию буквально из ничего или всего: ненароком вылитого кофе или плохо работающего лифта. Фантазия у него бьет ключом, и ее повороты заставляют то рассмеяться, то задуматься на отвлеченные темы, то обрушивают на читателя всю мощь кафкианского абсурда.

Похоже, сам писатель непрерывно экспериментирует и пробует себя в разных направлениях. Его книги больше похожи не на искусно отшлифованные работы ювелира, а на дымящуюся лабораторию алхимика-самоучки, который пока еще не до конца понимает, что он на самом деле ищет, и с увлечением проводит разные опыты, смешивая случайные ингредиенты, просто чтобы понаблюдать за неочевидным результатом.

Сюжет романа интересен и актуален: попытка разгадать тайну «картины» и личности неизвестного художника Сархана оборачивается разговором о современном искусстве в целом, границах перформанса и пороках его участников. В «Картине Сархана», на мой взгляд, отчетливо проступают пелевенские ноты из «iPhuck 10», но без религиозной метафизики. Джафаров как бы балансирует между реверансами миру массовой психологизированной культуры, в которой возможно фантастическое, но исключено по-настоящему мистическое, и созданием оригинальной Вселенной, в которой, на самом деле, возможно всё, но это еще предстоит разбудить или открыть.

Конечно, можно было бы поиронизировать над тем, что наряду с картиной Сархана главными героями книги являются беспрерывно звонящий смартфон (ох уж эти несогласованные звонки в эпоху мессенджеров!) и кофемашинка Лизы Ру — настолько много уделяется внимания этим бытовым вещам. Порой раздражают и заикленность автора на слове «лакей» — он его зачем-то смакует и беспрерывно повторяет в ряде эпизодов подобно тому, как Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского бессовестно склоняет слово «маточка», начинающее вызывать у читателя нарастающее отвращение. Можно было бы придаться и к неоправданному, на первый

взгляд, повторам вроде несколько раз кряду разлитого Лизой кофе, но потом становится ясно, что это и есть акт современного искусства.

Отличительная черта книг Джафарова состоит еще и в том, что они не перегружены явными и скрытыми цитатами и аллюзиями на разные интеллектуальные произведения, хотя и не вполне лишены их. Например, сравнение протагониста Лизы Ру с Крошкой Ру побуждает посмотреть на роман в свете сказочной истории Алана Александра Милна или, скорее, труда культуролога Вадима Руднева «Винни Пух и философия обыденного языка». Народное же название картины Лизы «Бабочка» актуализирует притчу о странствиях неприкаянной и заблудившейся души. Во всяком случае, порой кажется, что вся книга — это непреходящий трип Крошки Ру.

Не могу сказать, что этот роман — большая и крепкая удача, но он по-своему увлекателен и нетривиален, и в нем, так же, как и в «Сато», заметен большой творческий потенциал автора. Рекомендую присмотреться к Рагиму Джафарову сейчас, потому что в будущем он может всех приятно удивить.

*Валерия Пустовая (г. Москва)*

## Художественное пособие на курсах родительства

Расскажу о книге, о которой узнала благодаря критическим дискуссиям премии для авторов до 35 лет «Фикшн35», — «Городе вторых душ» Руты Шейл. Роман вышел в финал премии в 2021 году. Рута Шейл — псевдоним Саши Степановой, писательницы, соведущей подкаста «Ковен Дур». Ее роман о двоедушнике — человеке, который днем влачит унылую жизнь обывателя-неудачника, но по ночам в его теле просыпается заклинатель и проводник мертвых. Это текст на границе литературы серьезной и развлекательной. И для меня особенно остро в отношении этого романа встал вопрос: настоящая ли это литература, — именно потому, что граница между жанровым произведением и свободным художественным исследованием реальности тут так видна. Автор в этом смысле сама двоедушна: завлекает и удерживает читателя достаточно лобовыми, до пародийности, приемами триллера — но это грубовато завоеванное внимание направляет на явления совсем не завлекательные.

Роман вызывает глубокую грусть, отторжение, протест — и именно поэтому долго не может забыться. Для меня в нем острее всего звучит тема детей, брошенных при живых родителях. Эта великая боль разорванной привязанности, абсолютная уязвимость ребенка, оставленного, обнесенного попечением старших, в романе выражена так наглядно, что его можно рекомендовать как художественное пособие на курсах родительства.

Сейчас теория привязанности увлекает все новых адептов, на ее распространение работают многие психологи, курсы и лекции, статьи. В воспитании продолжает свершаться великий переворот, готовившийся десятилетиями: от авторитарных, командных методов, от запретов и недоверия, дефицита и дрессировки — к идеалу добровольного следования ребенка за своим взрослым, к отношениям безопасным и прочным, любви изобильной, не умещающейся в рамки поощрений и наказаний.

Когда-то проводники новой философии родительства презентовали первые результаты исследования привязанности — среди них были и документальные фильмы, которые и сегодня взрослый человек не может смотреть без содрогания и слез. Известен, например, фильм «Джон» 1969 года: съемки нескольких дней из жизни

полутородаговалого малыша, чьей маме пришла пора снова родить, и, пока она в роддоме, его поместили в приют. Ничего плохого там с малышом не происходило, но само отсутствие матери в сочетании с невозможностью среди сменных нянечек найти объект иной надежной привязанности породили глубоко болезненные чувства брошенности, недоверия, уязвимости, наглядно зафиксированные камерой. Это не был специально устроенный эксперимент: временно отделить ребенка было, видимо, обычной практикой. Сегодня же адепты привязанности предупреждают о вреде даже ситуативных, временных тайм-аутов, когда родитель в качестве наказания ненадолго отделяет от себя, изолирует ребенка, словно лишая покровительства взрослого, изгоняя из отношений.

«Город вторых душ» Саши Степановой средствами фантастической литературы воплощает это изгнание, визуализирует крайнюю форму тайм-аута. В городе пропадают дети — мистическое расследование выводит на маньяка, но не обычного, а родственного двоедушнику-герою: злодей умеет запирает души детей в игрушечные тела. Ни сюжет, ни образ маньяка в романе не новы — однако автору удастся поместить их в узнаваемо нынешние реалии: для сюжета важны перспективы детей с особенностями развития, благотворительность, бизнес в Инстаграме, современное искусство, выставленное в баре. Но это скорее слой социально-сатирический. Куда ценнее в романе психологическое расследование. Тут раскрывается своеобразное подполье города, которое маньяк овегествил, но не придумал сам: это подполье обреченных душ сотворяют сами взрослые, игнорирующие своих детей, при жизни припрятывающие их от себя, с глаз долой.

Мне очень мало понравился дешевый финт в финале, когда автор нарочно и расчетливо выбирает невинную жертву, чтобы подкрасить финал трупом и трагедией, а заодно обрекает главного героя на окончательное поражение, крупнейшую неудачу. Ночная душа добивается цели, — и именно поэтому, опасаясь, видимо, что хэппи энд читателя недостаточно убедит, писательница отыгрывается на судьбе героя в его дневном воплощении.

Впрочем, в романе есть и очень тонкий слой, позволяющий прочитать фантастическую раздвоенность как метафору. И в таком случае судьба героев ночного и дневного нераздельна, и граница между злом и добром, как по Достоевскому, проходит через сердце человека, делающего выбор. И меня очень тронула в романе моральная победа героя-неудачника. Автору удастся так умело связать фантастические допущения с психологическими свойствами героев, что колебания сердца тут в самом деле напрямую влияют на сюжет. И куцая, холодная, унылая жизнь обывателя оказывается осознанной жертвой во имя сбережения мира от зла, ведомого его второй, ночной душе.

*Алексей Саломатин (г. Казань)*

**«Это не “1984”, это — 2021-й»**

Я хочу рассказать вам об одной книге.

Прочитана она не сейчас, куплена — и того раньше, а уж издана... Но тем примечательнее будет мой рассказ.

Не как фарс повторяется история, а как захлёбывающийся отнюдь не клюквенным соком гиньоль.

Дьявольская, как сказал один поэт, разница.

Первая кровь уже пролилась к тому моменту, когда — ещё в прошлом году — голливудские актёры, небезосновательно опасаясь остаться без работы, принялись взапуски приносить публичные извинения за своё белое превосходство, благами которого они имели неосторожность пользоваться всю несознательную жизнь.

По другую сторону океана, в стране, имеющей свой незабываемый опыт борьбы с превосходством белых, эти крики души воспринимались на совершенно особый лад, потому что не могли не вызывать ассоциаций с покаянными письмами русской интеллигенции: не осознавал, заблуждался, проявлял политическую близорукость, готов всячески искупить...

Прогрессивнейшая из культур — культура отмены, с которой рискуют непосредственно познакомиться не успевшие вовремя перековаться, тоже знакома в наших палестинах не понаслышке. Растворившиеся по взмаху ретушёра участники коллективных снимков, разосланные подписчикам «Большой советской энциклопедии» вклейки с фотографиями Берингова моря, которыми полагалось заменить статью об исключённом из пантеона Лаврентии Берии...

Но рассказать я хотел не об этом томе энциклопедии, а о другой книге, занимающей особое место в моей библиотеке.

Александр Сумароков, «Стихотворения» (Л.: Советский писатель, 1935), побитый временем экземпляр, перехваченный за бесценку у залётного букиниста. В числе готовивших издание — Григорий Гуковский, написавший для него помимо прочего небольшую заметку «Литературные взгляды Сумарокова». Вот только узнать об этом из моего экземпляра довольно проблематично: заметка аккуратно выстрижена (маникюрными ножницами, заметил бы Шерлок Холмс), а имя «отменённого» за низкопоклонство перед Западом филолога тщательно вымарано со всех страниц, выстричь которые не представилось возможным. Не том «Библиотеки поэта», а символ эпохи.

Низкопоклонства перед Западом у иных соотечественников и по сей день с избытком, а вот в методах борьбы за место на поле литературы они проявляют себя наследниками традиций не столь отдалённого отечественного прошлого. С гордостью, приличной орденосцам, нацепив стигматы, спешат они примкнуть к сообществу униженных и оскорблённых, чтобы любую критику объявить травлей, а то и потребовать от редакций журналов разобраться с неблагонадёжными авторами. Впрочем, готовы они и догнать и перегнать историю, сделав былью мрачные фантазии антиутопистов: изъятие из лексикона негодных слов — это не «1984», это — 2021-й.

Пока эти персонажи ничего, кроме смеха, не вызывают, однако первые публичные покаяния уже прозвучали, а значит — что-то сдвинулось в нашем и без того не самом благополучном королевстве и покатило куда-то совсем не туда...

Однако искусство, смею напомнить, оскорбительно само по себе — как минимум тем, что исключает идею равенства: есть наделённые талантом и талантом обделённые, и сколько бы вторые ни клацали маникюрными ножницами, первые останутся первыми. Потому что где ещё торжествовать справедливости, как не в мире искусства?

На этой жизнеутверждающей ноте, пожалуй, можно переходить к тосту.

Поднимем же бокалы за то, чтобы история не повторялась, чтобы рукописи не горели и чтобы в грядущем году, когда нам захочется о чём-то рассказать, нам не пришлось бы сверяться со списком разрешённых слов.

*Елена Сафронова (г. Рязань)*

## «Для меня эта беседа стала маяком»

Возможно, самым значимым литературным и личным событием 2021 года для меня стало интервью, взятое у Владимира Новикова «Поэзия нуждается в демократизации!». Оно вышло 17 февраля и в значительной степени «сделало» мой год — и, как сейчас кажется, всю дальнейшую жизнь в литературной критике.

Разговор состоялся по следам годовой конференции на факультете журналистики МГУ, посвященной проблемам массовой культуры. Новиков сделал там доклад «Массовая внеэстетическая поэзия и проблема ее критической оценки», опираясь на дружно «презираемого» литературоведами Эдуарда Асадова, его современных последователей — Ах Астахову, Солу Монову — и некоторых других поэтов и поэтесс, собирающих сегодня виртуальные стадионы.

Для беседы оказалось исключительно удачно, что площадкой был «общекультурный» портал «Ревизор.ru», а не литературный «толстый» журнал. Увы, не все «толстяки» интересуются материалами об образчиках «массовой культуры», испытано на себе...

Мы говорили о феномене внеэстетической, коммуникативной поэзии и о бесплодных попытках критиков «вписать Асадова в контекст высокой поэзии, найти у него “удачные” стихотворения или хотя бы строки». Новиков утверждает, что это не поэзия в принятом смысле слова, а другая коммуникативная система, что честнее и точнее ее было бы называть «внеэстетической поэзией». Но в таком случае — «какие темы, семы, мотивы нужны сегодня для того, чтобы нынешняя высокая поэзия смогла вернуть себе почти утраченную ею коммуникацию с реальным читателем?» Если ставить понятие коммуникации, то есть эмоционального взаимодействия с читателем, во главу угла, то оно окажется выше умелой версификации и прочих литературных и эстетических достоинств, так как у «высокой» поэзии «нет “нацеленности” на читателя, и этих стихов никто не читает; их читают только сами поэты, декламируя на собственных вечерах». Умение «дать» свои стихи публике, по Новикову, не менее, а может быть, и более значимо для поэта, чем само умение создать качественный текст. Можно, конечно, гордо заявить, что настоящему поэту это не нужно — но тогда не стоит жаловаться, что поэзия оторвана от читателя, никому не нужна и снова, как при декадансе, заперта в башне из слоновой кости... Шаг за шагом мы подошли к определению коммуникативной поэзии как стихотворных текстов, обращенных к первичным эмоциям. Новиков считает, что любовные эмоции первичны (можно также сказать — элементарны), ибо с них начинается личность. Сегодня, не раз осмыслив тот разговор, я думаю, что к первичным эмоциям относятся и другие базовые человеческие чувства: радость осознания бытия, материнство и детство, дружба, любовь к малой родине... А их поэтический смысл Новиков выразил практически афоризмом: «Высокая поэзия напрямую требует от читателя быть личностью, а поэзия массовая начинает делать его личностью». Между прочим, по его мнению, к массовой поэзии относится и «Сероглазый король» Анны Ахматовой — не зря великая поэтесса в зрелые годы не любила, когда ей напоминали об этом «молодом» стихотворении. Мы остановились на том, что тяга к поэзии у многих читателей начинается именно с такой лирики, взывающей к первичным эмоциям и дающей возможность подставить на место лирического героя себя.

Для меня эта беседа стала маяком, обозначившим направление моей личной критической мысли. Я часто обращаюсь в статьях и рецензиях к произведениям условно «массовых» жанров — детективам, фантастике, приключенческим романам, —

стараясь увидеть в них и литературные достоинства, и иные привлекательные черты: «гуманизм» текста, обращенность его к людям, попытку порадовать, развлечь, приподнять над обыденностью или внушить наивную веру в торжество добра... Но у меня нет филологического образования: что если я рассуждаю как дилетант?.. Когда столь явный и действенный интерес к массовой культуре демонстрирует авторитетный ученый, доктор филологических наук, это весомый аргумент в пользу того, что и таким изводом литературы стоит заниматься всерьез. Ведь у каждого арт-объекта есть своя «сила». И силу «масслита» аргументированно показал мне Владимир Иванович. За что я ему очень благодарна. Считаю, что в прошлом году я взяла одно из лучших интервью в своей жизни, которым, как сказано в вопросе, «хочется поделиться, ...согласиться или поспорить, ...не позволить забыть и предложить подумать».

*Александр Чанцев (г. Москва)*

## «Время, выпавшее из фокуса внимания»

Мой год был посвящен перечитыванию, заполнению лакун, что, кажется, хорошо резонирует с ковидным замедлением мира — собственный темп ты как бы противопоставляешь внешнему.

Перечитывание таит больше находок, чем обычное знакомство с новинками.

Одним из самых ярких впечатлений стал Вениамин Блаженный (Айзенштадт, 1921—1999).

Действительно блаженный, тихий, тоскующий, алчущий — если бы кишинёвские клошары из «Ладоней» Аристакияна записывали свои жалобы Богу на существование смерти, движение ампутированных рук к любимым и немые крики людям, они звучали бы, как Блаженный. Говорить о его поэзии не позволяет объем публикации. Но можно процитировать — кажется, все ясно из четырех строк. Тем более что они оказываются эмблематичными (чтобы избежать «пророческими»):

Воскресшие из смерти не брезгливы.  
Свободные от помыслов и бед,  
Они чуть-чуть, как в детстве, сиротливы  
В своей пережившей судьбе.

Впечатление сопровождалось сильной, не отпускающей мыслью. О том, что Блаженный сейчас почти так же не востребован, как и в советские годы. Даже не стоит, видимо, сравнивать его рецепцию с востребованностью Мандельштама, опять же рифмующегося с ним поэта. Можно взять любого серебрянновечного поэта — издания, конференции, научные сборники, публикации текстологических и филологических открытий, памятники, музеи, фильмы, майки, рок-перепевы<sup>1</sup> (Мандельштам кладется на рэп, имидж лидера Shortparis срисован с Маяковского). У Блаженного нет сайта, статья о нем в Википедии проигрывает по размеру статье о каком-нибудь современном бойком писателе, а поиск главной его книги «Сораспятье» вылился в настоящий квест — лишь одна ссылка для скачивания в Сети (и та

<sup>1</sup> Стихи Блаженного исполняла певица Елена Фролова: [https://vk.com/music/playlist/239070621\\_82759361](https://vk.com/music/playlist/239070621_82759361). Сто с копейками просмотров их весьма характерны по сравнению с миллионами у Земфиры (Бродский) и Noize MC (Мандельштам).

не сработала), книгу выслал мне в итоге букинист-продавец из другого города. Да, буквально на последних минутах года начали вдруг выходить его тонкие книги — «В переводах» (спасибо, но когда см. выше и еще очень многое просто не издано, переводы на польский читать кажется несколько странным изыском), «Переписка», «Стихи из тетрадей» (все — издательство «Новые меха», 2021).

Почему так? Виновата та ригидность общественного сознания, в котором изменить количество людей на пьедестале великих — все равно что собрать тысячу бумажек и стоптать железную обувь для оформления инвалидности? Его камерная и религиозная лирика выпадает из популярных конвенций и дискурсов, как, например, получил свои 15 минут славы в мистически настроенные 90-е Даниил Андреев, а с тех пор кому нужен? Нужно время?

Со временем, эпохами вообще интересно. Кажется, советское возвращается — не говорим про политические веяния, достаточно вспомнить увлечение им молодого поколения или современного кинематографа. Но вот то время, когда Блаженный писал и (не) публиковался — первые стихи датируются 1943; первая публикация в 1982, — кажется, до сих пор выпало из фокуса внимания. Революция, Серебряный век, авангард, репрессии, война — ярко, интересно, описано, изучено и осмыслено. А дальше — скучнее, ближе, не покрыто даже патиной ностальгии? Тоже не совсем так, конечно, издают, возвращают, даже фильмы снимают. Тогда почему?

Соблазнительнее всего сказать, что таким авторам и не нужна популярность, они — как та редкая рукопись, старая пленка, что лишь распадутся от света рампы, раскрошатся. Засветиться в миру для них означает — засветиться от света.

Но это, конечно, не ответ.



Ольга Балла

## Велимир своими глазами

Владимир Гандельсман, поэт, казалось бы, совершенно не хлебниковского темперамента и смыслового устройства (как, по крайней мере, можно было думать до недавнего времени), предпринял неожиданный опыт, который даёт нам основания переосмыслить как поэтическое явление и его самого: опыт радикального перепрочтения Велимира Хлебникова. Практически переписывания его.

Предприятие его даже более дерзко: с помощью Хлебникова, взятого как ориентир, он спускается — в поисках истоков жизнеобразующих, миротворящих сил — к самым корням поэзии XX-го, а тем самым и собственного века, поскольку из языка и мировидения Велимира, независимо от того, с какой степенью адекватности он оказывался понят, «вышли многие поэты» минувшего столетия, на плечах которых, соответственно, стоим мы.

Работа, за которую берётся Гандельсман, — в каком-то смысле переводческая. Только переводит он на язык третьего десятилетия нашего века не стихи Хлебникова, но самого Велимира. Модус его присутствия, тип его культурного участия — берёт да пересаживает на совершенно другую почву. Впрочем, не в той же ли мере он переводит на язык Хлебникова — самого себя?

Это мой, числяра, загон.  
Доски по периметру песочницы,  
воспариметру бессонницы.  
Доски, сложенные у сарая,  
на которых сидя сплю  
сплхнувшись лицом в колени,  
доходягой ходьбы.  
Громовые доски для гробов.  
Доски будьбы.

Владимир Гандельсман. Велимирова книга. — М.: Воймега; Ростов-на-Дону: Prosodia, 2021. — 128 с.

Кажется мне, такого — с такой степенью радикальности и на русском языке — не предпринимал ещё никто.

В чём поэт первой половины XXI века продолжает поэта первой половины века предыдущего, человека демиургического времени — не чета нашему? Как и, главное, для чего он это делает? Кто он Хлебникову: ученик-продолжатель, собеседник-слушатель, бунтарь-соперник?

Отважился сказать: и то, и другое, и третье одновременно, и все эти позиции по отношению к «неклассическому классику» (так, как известно, наши современники назвали Пригова, но куда более заслуживает такого звания существенно превосходящий его как в неклассичности, так и в классичности Велимир) предполагают друг друга и нуждаются друг в друге. Особенно ученик-продолжатель — в бунтаре-сопернике.

Обращаясь к демиургическому времени, постепенно вживаясь в его мировосприятие, в его мотивы, образы, интуиции, вращивая это мировосприятие в себя, — он сообщает демиургизм и собственной современности. Уж не меняет ли он тем самым границы культурных эпох? По крайней мере, указывает на возможности их изменения.

Итак, прежде всего: Гандельсман берёт Велимировы модели и с некоторой опорой на них перекраивает язык своего времени (из этого новообразующегося языка взято название первой и основной части его книги — заумное слово «Мыдым», сросшееся из «мы» и «дыма»: «Рифмы автор палиндромной;/ дым — а через строчку — мы./ Полубдящий-полудрёмный,/ бес бездомный»). Он заговаривает от имени Хлебникова, — вначале как будто собственной речью:

Я врождён этой почве  
и стихии морской и речной,  
на рассвете  
видел я в тростниках голых дев —  
как, себя раздев,  
тайну ткани отбросив,  
в волнах жизни купали себя,  
там, где ночью  
смерть купалась  
в волнах небытия.

Это стихотворение, открывающее книгу, запускаящее её механизм. Текст постепенно разогревается, наращивает внутренние скорости. Поэт буквально гипнотизирует, заворачивает себя Хлебниковым — постепенно теряющим человеческие очертания:

Я Нарцисс,  
я лежу на оси абсцисс  
лицом к нулю,  
засмотревшись в его озерцо, —  
кто я?  
Единица ли?  
Пусть подсветит денница.  
Или — мнимая единица в квадрате  
(минус я единица)?

Он вговаривает в себя Велимировы мотивы (в «Примечаниях» объяснит — какие именно, но читатель многое узнает и сам), его интонации, вводит себя в транс, вызывая дух своего героя (спроста ли тут столько глаголов в настоячиво-повелительном наклонении? — о которых всё непонятнее, к кому они обращены: к Велимиру? к себе ли самому?), заклиная его ли, себя ли — сливаясь с его личностью:

Друг степей,  
Буддой будущего пробуждён,  
говорю: эту воду живую воспей,  
солнца к ней лучом пригвождён.  
Продерись сквозь чертополох,  
выйди в ясную явь,  
в её небесный, а не бесовый гул,  
а чтоб храму ни на одну из четырёх  
не хромать,  
ставь  
дарцоки, спаси хурул.

И под влиянием Велимирова присутствия речь, а вслед за ней и картина мира начинает плавиться, дробиться:

Я разгрыз  
мозговую косточку словаря,  
вынув Ы,  
вынув из смысла Ы,  
и быка в него впряг.  
Я калмык и кыргыз.  
Пей из кринки словарный кумыс.

Я Нарцисс.

Тут, кажется, происходит нечто более сильное и страшноватое в своей мощи, чем стилизация. Позволив Велимиру вселиться в себя, поэт начинает говорить как медиум — его голосом. В языковых разломах начинают чувствоваться шаманские корни поэтической практики, выходит на поверхность её раскалённая магма:

Безумливый, о чём ты рокчешь?  
Куда водырь, туда гурьба.  
На что их прочишь?  
Зачем гремит твоя арба?  
Блазноречивый чернокнижник,  
По небу мечутся лучи,  
Мигает вспышник,  
Но тонет стихогруз в ночи.

Сам же Велимир, окончательно переросший всё человеческое, предстаёт скорее уж как гигантское, соприродное стихийным силам мифическое существо:

Тёк костистой длинноногой рыбой под водой,  
но к поверхности вплотную ртом корявым,  
поворачиваясь на бок, глядя вверх  
то левым глазом, то,  
крутанувшись на другой бок, — правым.  
Загребал расхлябанными рук плетьюми,  
гул прослушивая до Японии  
(где давилось море слизанными  
с кораблей людьми),  
и к нему лепилось, вылезшему из воды, исподнее.  
Вытрясая гул сражений из ушей,  
в мешковину наряжался и, уже в небесны хляби  
всматриваясь, синевой из двух ковшей  
похмелялся, чтоб расставить вехи  
в мировом разграбе.

Однако у Гандельсмана есть ещё и четвёртая позиция — совершенно неотделимая от трёх первых и тоже воплощённая поэтически: он тут исследователь, аналитик, генеалог. На шаманское вызывание духа Хлебникова он отваживается не в последнюю очередь с

исследовательскими целями; исследовательские же задачи выполняет как визионер, путешественник во времени, маг.

Сам автор в обширных прозаических комментариях к книге говорит, что «движение от одной вещи к другой дискретно и обусловлено случайным импульсом», а всё, что задаёт здесь какую бы то ни было неслучайность, «непременно определяется прямым или косвенным присутствием Хлебникова» — и только им одним. Однако последовательность и логика в книге шире простого присутствия Велимира и видны совершенно чётко. Гандельсман пишет собственную версию русской литературной (да и не только) истории в нескольких главах, в которых говорит уже не только по-хлебниковски, но языками разных времён и состояний. Он вычерчивает генеалогические ветви, помещая Хлебникова в корень этого древа. Он прослеживает происхождение своего героя, в живых картинах показывая «Рождение Хлебникова из летописи» (и заговаривает постарославянски: *«Не на добро се проявляше —/ нашествие на Русь поганых,/ кровопролитья многы наши —/ метельчатая! — от незваных»*), из духа опричнины, — и тут им овладевает язык эпохи Грозного: *«Песьеголовцы мы, опричина,/ в кафтанах жёлтых мы, кромешники/ с помелом, с помелом./ Речь не речь унас, а рычь она,/ трепещите, грешники,/ языки ваши вялые вырвем, да и поделом!»* Так же, голоса чужими голосами, показывает он возникновение его наследников — «Рождение Введенского из Хлебникова», «Рождение многих из Хлебникова». В главе «Ещё поэты и Велимир» вдруг слышен пугающе-узнаваемый Заболоцкий: *«Великое событие оленей/ шло меж деревьев, бережно косясь»*. Катастрофа Первой мировой, показанная как катастрофа языка, торжество хтоники и архаики, порождающих языковых чудовищ, предстаёт ещё одним из источников Хлебникова (для которого тема войны — одна из основных): *«там алч и волч,/ там рыск, и выгрыз, <...> и молчь навечно,/ и фальчь, мой мальч»*.

Он также выговаривает языком Хлебникова историю XX века, состоявшуюся уже за пределами земной жизни Велимира, передоверяя, в частности, некоему «злописцу» изложить версию происхождения от

Х[лебникова] не только русских поэтов, но и Х[айдеггера] в самом тёмном из его обликов:

Пьяный числами, Х. бродит-бредит: как бы меркантильный  
выгравить жиловский дух из колбы  
большевистской, дух рептильный кобры,  
да, рептильный...

Х. второй о русском боге скрытом,  
в «Чёрные тетради» пишет Х. арийский:  
«Русских инородцы развратят! Подайте списки  
инородцев!» Первый Х. немывтым  
ходит, а второй — с отрыжкой, сытым.

По идее, задач в этой небольшой книжечке — на основательный учёный труд, а то и не на один (сама же книжечка вполне могла бы быть развёрнута в большой трактат о Велимире, который, как автор говорит в «Примечаниях», «как никто из поэтов, смоделировал в языке то, что произошло впоследствии в стране»). Но Гандельсману важно проделать такую работу именно поэтическими средствами, чтобы воспользоваться всеми их преимуществами, — те, в свою очередь, глубоко родственны средствам мифологическим. Он расковывает энергии слова, и «Велимирова книга», мистерия языка с элементами глоссолалии, оборачивается «Теогонией» русской словесности — поэмой о рождении нового мира (рождении катастрофическом — сопровождающемся разрушением прежнего. «Созидание и разрушение в работе Х. идут рука об руку», — скажет поэт в «Примечаниях» и уточнит: «Вторая составляющая преобладает, как она преобладала в образовании Советского государства»). Размышление о Велимире становится натурфилософией этого мироздания, а само его имя — миропорождающим заклинанием:

Велимир, велимир,  
на штыре стиха — нашатырь.  
Тысячетнее узрь  
царство моё! Заратустрь!

Книгу удачно дополняет — я бы сказала, достраивает до объёмности — большое эссе-послесловие Владимира Козлова, имеющее все права быть прочитанным как её полноценная самостоятельная часть. Это послесловие, по масштабности задач вполне достойное названия

мини-монографии, может показаться даже несколько избыточным по отношению к книге с её хоть и далеко идущими, но всё-таки частными задачами радикального перечитывания Хлебникова, поскольку говорит о поэтической — и немного о человеческой — биографии Гандельсмана вообще, прослеживает его эволюцию, его основные мотивы, предлагает ключи («пять ключей») к его поэтике в целом. Но, позволяя лучше разглядеть автора, оно ещё более приближает нас к пониманию того, что он делает здесь и сейчас. Хлебниковский опыт автора (о котором в эссе нет ни слова; видимо, оно писалось раньше) оказывается таким образом поставлен в широкий контекст его поэтической работы, начиная от самых истоков, и объяснён, исходя из самого её типа. Мы уже заметили вначале, что новейшая книжечка Гандельсмана даёт основания к тому, чтобы пересмотреть успешные сложившиеся представления о поэте. Именно в этом направлении делает шаги Козлов, проблематизируя своего героя — и тем самым проясняя не только корни его обращения к Хлебникову, но, с его помощью, — и «процессы, идущие <...> в русской поэзии в целом». Прежде же всего он обращает внимание на то, что Гандельсман вообще устроен так, что не укладывается в заготовленные ожидания; что средствами, которые могут показаться привычными, он решает совсем другие задачи, — отличные от тех, с какими эти средства применяются обыкновенно. Самое же важное, что комментатор, признавая

Гандельсмана поэтом неожиданным, парадоксальным и протейным (в чём с ним хочется всей душой согласиться), формулирует устройство этой парадоксальности.

«В фигуре Владимира Гандельсмана, — пишет он, — много парадоксального. Он слишком разнообразен для определения. В силу своего лиризма он кажется поэтом элегическим, но героя, за переживаниями которого мы следим, в этой поэзии нет. В силу сохранения детской изумлённости перед жизнью он кажется поэтом идиллическим, но за границей идиллии у него таится кошмар неподлинности. Трудно увидеть его новаторство в ситуации, когда есть все формальные данные, чтобы считать его поэтом традиционным. Это потому, что новаторством у нас чаще считается попытка с традицией порвать, а не новаторски с нею работать, — и вот во втором смысле Гандельсман безусловный новатор».

Именно таким, неожиданно безусловным новатором поэт предстаёт нам в «Велимировой книге».

И кстати: лишь добравшись до «Примечаний», терпеливый читатель узнает, что первая часть Велимировой книги, «Мыдым», «за исключением пяти стихотворений и четвёртой части (“Рождение новой жизни в свитках”», добавленных недавно», писалась, оказывается, в глубоко советское время — в конце 1980-х. Гандельсман ещё неожиданнее — и ещё мощнее и свободнее, чем мы о нём думали.

*Дмитрий Бавильский*

## Праздник послушания

Первое впечатление от лирики Ростислава Ярцева: она весьма грамотная, точнее, культурная. Не филологическая (университетская, академическая) поэзия — метарефлексия здесь выведена за скобки и тщательно заштукатурена, но тем не менее максимально насыщенная: опыт предшественников постоянно отсвечивает в пьесах сборника «Нерасторопный праздник» то тематически, то интонационно. Тут мелькнет Иосиф Бродский, здесь отзеркалит Ольга Седакова или совсем уж по-приговски оборвется любовное признание, а здесь, причём иной раз, даже и на протяжении одного цикла, — возникнет едва ли не маркированная отсылка к просодии Сергея Гандлевского, Георгия Иванова, ну, или же к экспериментам, например, лианозовцев.

Впрочем, в случае Ярцева, точнее, строения его «Нерасторопного праздника», речь должна идти не о подражаниях или отсутствии самостоятельности, но об особенной (искусственной) среде авторского обитания — очевидно филологической, безальтернативно гуманитарной.

Роль гумуса в ней играет опыт предшественников, веселящим газом заполонивших собой всю ойкумену нынешнего поэтического существования. Обойти невозможно. Игнорировать тоже. Без ремейков и отсылок, пастишей и оммажей, теней теней и следов следов более не обойтись. Слишком уж много всего как в диахронии, так и в постоянно усложняющейся синхронии, сделано, придумано и открыто. Приходится есть опыт предшественников, пить его, постоянно нацеловывая образки, состоять из хрестоматий и антологий как рыба из воды.

---

*Ростислав Ярцев.* «Нерасторопный праздник». — М.: «ЛитГОСТ», 2021. — 114 стр.

В густых металлургических лесах современных гуманитариев личное прорастает сквозь трещины библиотечного асфальта, вот примерно как цветы по краям городских бордюров. Как сорняки, имманентные химсоставу городской, а не дикой (органической) культуры. Как самописцы и интеллектуальный самосев, уже не знающий естественного, природного простора. Чистой, органической почвы под ногами. Конечно, не позавидуешь.

Вышел Гоголь из шинели,  
Достоевский из пальто,  
Мандельштам из сизой ели,  
Пастернак из шапито.

Основные спецэффекты —  
Сон, история, конфуз.  
Осип кушает конфеты.  
Ося кушают арбуз.

Мёртвой груши лёд земельный —  
Гниль картофеля — труха.  
То барак, то богадельни,  
Голод, холод, Туруханск.

Брут клыкастый, брут игристый,  
Раззудись-плечо-розан!  
Ландыш, ландыш серебристый, —  
Этот свет не по глазам.

Эти уши не для взрывов,  
Эти руки не про то —  
Лёд, тюрьма, посуда, рынок,  
Рынок, лагерь, шапито.

Этот лепет шепелявый —  
Переливы трёх веков —  
Гибель губ с фальшивой славой,  
Зверской славой дураков.

Да это же центонно полноценная услада для критика и слависта! При этом Ростислав Ярцев — не какой-то там «архивный юноша» или «бумажный солдат», состоящий сугубо из

дистиллированной заочности науки или же салона. Ровно наоборот: интеллектуальный опыт встречается в его произведениях с жизненным для того, чтоб искусство победило жизнь. Точнее, помогло победить сумеречное, угнетенное сознание, свойственное жителям небольших городов, а Ярцев родился и вырос в Троицке Челябинской области.

Пыль сонных и пустых предместий не особенно богата разнообразием, из-за чего становится понятной повышенная литературоцентричность авторского подхода. Стоит задуматься о том, зачем Ярцеву нужны именно такие стихи, и тут же становится очевидным: живые интеллектуальные впечатления (как продолжение чувственных) в таком Троицке можно найти лишь в книгах (интернет, разумеется, избыточен эмоциями, но они уже какие-то не совсем живые).

Сам много лет спасался в Челябинской области схожим способом, день за днем выстраивая «из культурных обломков» и «кругов руин» максимально автономный контекст, куда невозможно вмешаться, влезть. И который невозможно отнять. А это все равно как перейти на свист. На птичий язык.

*Тот город, где мы жили  
Он не был похож на обычный город  
Муку развозили по торговым дворам  
катафалками  
На азиатском рынке визжали нищие женщины  
И дрались за добычу коты*

\*

*Я не знаю как я догадался  
Что наш город не был обычным городом  
Просто не попадалось такой книги  
Где бы мне рассказали об этом  
О том что было там с нами  
О том что мы сами не знали*

Точнее, на ультразвук, мало кому внятный. Что нам стоит дом построить? Начитаем, станем жить: бездомность провинциального существования восполняется «прижизненным домом» «внутри языка» и культуры-литературы, искусства, заменяющего собой не только религию, но и кухню с прихожей.

Интонационная вязь Ярцева, сплетающая собственные слова с заемными мотивами, должна вызывать ощущение максимально выпуклых объемов. Нестоличный человек, живущий в разреженном культурном

кислороде не просто изобретает велосипед — он воспроизводит «на месте» всю полноту и широту «мирового опыта». Защищаясь от экзистенциальных сквозняков, такой поэт вынужден, да, конструировать все и сразу.

Я останавливаюсь на мотивациях Ростислава Ярцева так подробно затем, что, как кажется, рецензии на современные стихи обязательно должны объяснять, зачем автору создавать именно такие тексты, какие представлены в подборке или в книге. Этого стиля, интонационного строя, направления и содержания, а не какого-то иного. Ведь если мы поймем, зачем такие подходы нужны автору, то сможем и себя обогатить, во-первых, переживанием чужого опыта. Чтобы, во-вторых, в схожих ситуациях иметь «перед глазами» (или «в душе») алгоритмы решений. Иными словами, иметь в читательской копилке пример еще одного расширения эмоционального (какого угодно) спектра, дополнительного сырья для сравнения и идентификации.

К примеру, для Ярцева важным оказывается опыт траура и утрат, пронизывающих опыт уральского детства. Смерть стариков неуловимо накладывает тему «сиротства» и культурной обездоленности на избыточную порой филологичность. Для того, чтобы другой нестоличный человек, пешком идущий по «Нерасторопному празднику» следом за автором, сравнил Троицкий тракт со своим, Уфимским.

дедушка и внук бредут по городу,  
и, кивнув задумчиво во сне,  
вспомнится, что мне три года от роду,  
всё ещё три года. все во мне:

и тоска, и сонное метание  
камушков в запруду тихих мест.  
если не закончится дыхание,  
по ветру шнырять не надоест.

потому что время неприкаянно  
потечёт по проруби кривой  
мимо наших глаз запрудой каменной,  
годовалой, скользкою листвою.

и с тобой, от города отодранным,  
на одре последнего «люблю!»  
я останусь намертво — несобраным,  
вечно утирающим соплю.

Стихотворения традиционны так же, как и эмоции их описывающие, помогающие тексту собираться в пучок. Легкая модернизация, идущая со стороны формы (отсутствующие заглавные буквы сплошь заменены прописными), не должна обманывать органы чувств.

Обезглавленные предложения, особенно поставленные встык на территории одной строки, оборачиваются ощущением дополнительной стертости — размытости краев, берегов, репертуара, приемов, тротуаров, городских границ: Троицк, Троицк, я тебя как маску знаю, хотя ни разу в нем толком не был. Только мимо проезжал.

Старость не радость, но норма нестоличной жизни, где время течет иначе, вне и мимо новостного потока, а пространство пылится вне времени и видимых перемен. Единственная новость здесь — чья-то болезнь или смерть, а прореженные знаки препинания, напоминающие утраченные зубы или же заколоченные окна одноэтажных домов в «честном секторе», передают читателю по цепочке озноб и тщету материи, расплзающуюся по сторонам, постоянно меняющую векторы утраты, а также пустоту всенарастающих зияний. «Страшную музыку пустоты».

До того как стать мертва  
Бабушка была права

\*

В городе городе где мы жили  
Много кладбищ и храмов были  
На самом старом кладбище в старом храме  
Меня крестили на радость маме  
На зависть смерти стоявшей рядом  
Зовущей адом с доставкой на дом

Второе впечатление от лирики Ярцева, постоянно перебирающего четки манер и приемов, это элегический ее настрой. Точнее, как это видно даже из приведенных цитат, демонстративно упаднический: смерть да смерть кругом. Когда пытаешься выбраться из сплина на поверхность (с помощью любовных отношений или любовных же стихов, что порой одно и то же), да не получается.

Некогда купеческий, богатый, но ныне запущенный Троицк — это серьезно и на всю жизнь, даже если переедешь в Париж или в

Венецию: от психологов ведь известно, что настройки человека (в том числе и яркости восприятия) складываются до пяти лет.

С другой стороны, интеллектуализм, найденный южноуральцем Ярцевым, вроде бы как себе во спасение, имеет неподконтрольные последствия. Например, начинаешь переживать мир во всей его полноте и, таким образом, понимать, как бесконечно он сложен. Чем больше ковыряешься в филологии (ну, или что там себе выбрал) — вот как татарчата купают лошадей в реке Увельке, на территории Троицка впадающей в речку Уй, — тем он оказывается все сложнее и подробней. Говорят, что в психологи идут замороженные подростки, мечтающие в первую очередь вылечить самих себя. Интеллектуальная мудрость несет многие скорби, расширяясь до бесконечности. До бесконечного падения в пропасть знаний. В самую что ни на есть рассудочную пропасть.

Умному человеку именно поэтому так трудно постоянно соответствовать себе: тяжесть знаний (и, следствием, понимание усложненности мира) уже сама по себе давит на голову, а тут еще неповторимые стихотворения уметь писать нужно.

Если литература — про особенности человеческого мышления (заниматься ей и означает строить рабочие модели, в лучших своих проявлениях дублирующие реальность в «полный рост»), то поэзия — про атомные ускорители этих процессов, способных высечь искру и запустить реакцию из чего угодно.

Многие тексты из книги Ростислава Ярцева как раз и напоминают мне цепочки таких ускорений, зачастую собранных из чужих запчастей. Здесь они похожи на пересаженные органы, прижившиеся к телу.

Ну, или чтобы высказаться менее радикально, вот как яблоне прививают грушу или же сливу, на более раннем этапе скрещенную с алычой.

со мною квирным и порфирным  
сапфирным избранным псалтырным  
ты будешь лебедем надмирным  
картинным лебедем квартирным

мы будем жить с тобою в мире  
в шкворчащей пасмурной квартире  
платить за воздух петь в сортире  
в пыли и в мыле

Когда современный поэт зашифровывает в стихах события своей жизни (каждый текст порождается конкретным импульсом, чаще всего остающимся за кадром), важны не события поэтической жизни, но возможность произведения породить у читателя системные отражения и впечатления.

Во-первых, читателю почти всегда неважно, что происходит с автором исходника, особенно если они лично не знакомы. Во-вторых, люди читают литературу ради собственных надоб.

При определенном наборе умений и приемов поэт запускает в лабиринт стихотворения газ продуктивной суггестии, — включая таким образом механизм считывания того, чего в тексте нет и, чаще всего, быть не может.

Однако основы авторской системы, построенной правильно (последовательно и с разветвленными повторениями), умеют переползать на противоположный берег коммуникации без потерь и даже с избытком.

Чем изощреннее читатель, тем больше эффектов ему открывается. Кажется, лидировать в восприятии подобных «темных» стихов (а нынешние лирики, похоже, только и делают, что соревнуются в непролазности) должны не филологи даже, но меломаны. Это они регулярно натренировываются считывать нюансы исполнений. Рихтер (Гульд, Плетнёв, Березовский) играет со сцены свое, но будто бы говорит непосредственно с тобой. Что за технические ухищрения солиста позволяют слушателю воспринимать исполнение «элегически» или «раздумчиво»? Музыкант ведь наверняка решает собственные профессиональные и бытовые вопросы. Ему наплевать, кто купил билет или диск. Главное, чтобы купили (заметили, прочли).

Чтобы (за)помнили.

Авторская манера состоит из незримых технологических ухищрений, вроде смазанности беглых касаний или, напротив, особенно деликатного туше, которые из зала не зафиксируешь, но которые в конечном счете и складываются в неповторимый стиль, вытанцовывающийся под пальцами далеко не у каждого. Иначе выдающихся пианистов было бы так же много, как нерядовых стихотворцев. И здесь важны общие технологические настройки и самовоспроизводящаяся система, работа которой напрямую зависит от

системности подхода, а это уже отражение характера и темперамента — материй, неотделимых от судьбы.

Посеешь привычку — пожнешь характер и особенности биографии: играть как умеешь занятие не такое уж и безобидное. Хотя, казалось бы: пианист не пытается воспроизвести всю полноту существования, но решает конкретные технические вопросы.

Так ведь и поэт, понимая, что тексты или книги не способны целиком вместить объем личности, выбирает для увековечивания отдельные черты характера, наиболее яркие стилистические открытия, способные максимально выпукло отразить эти самые индивидуальные черты. Чем поэты напоминают уже не солирующих музыкантов, но блогеров, тщательно выстраивающих собственный образ в узких рамках социальных платформ.

Самое интересное здесь — не столько данность стихотворений, сколько динамика творческого развития, проступающая поверх написанного заявкой на продолжение: раз уж подборка или книга способна вобрать лишь отдельные имиджевые черты, хочется достроить его с помощью последующих публикаций. Праздник собственного стихосложения Ярцев неслучайно обозначил «нерасторопным», эксплицитно закладывая в структуру дебютного сборника заявку на долготу своего творческого пути. Надежды юношей питают.

Средневековые живописцы часто применяли принципы сукцессивности, одновременности происходящего, когда на единой плоскости фрески или холста один и тот же святой возникает в разных мизансценах, имеющих меж собой причинно-следственные траншеи.

Масса отсветов и отзвуков превращает «Нерасторопный праздник» в подобие фейсбучной ленты, играющей стилями и интонациями, форматами и жанрами. Рядом с циклами, собранными из осколков разной формы (ритма, рифмовки), мелькают одностишья и фрагменты, прошитые каламбурами сплошных рифм или же отыгрышей созвучий.

Кстати, хорошо, что подавляющее большинство произведений этого сборника ритмически организованы и раскупорены точностью рифм: в современной поэзии,



являющейся частью современного искусства (contemporary poem в contemporary art'e), рифмованные тексты являются чем-то вроде многодельной, фигуративной живописи. Грамотной, задающей четкие точки отсчета, так как инсталляции «из говна и палок» доступны любому бракоделу и современным искусством продолжают называться по инерции (по незнанию, по общему бескультурью, некомпетентности).

Все-таки, contemporary art — не претенциозная каля-маля в стиле «моя пятилетняя дочка сделает лучше», но возможность высказать нечто новое, до сих пор никем не сформулированное.

Современное искусство (поэзия, танец) — это еще один шаг в сторону будущего. То есть небывалого, раздвигающего или сдвигающего границы с места, насиженного и нагретого теми, кто смотрит назад. Пусть этот шаг небольшой. Пускай микроскопический, но реальный. Вот Ярцев смотрит вперед и движется дальше. Используя для строительства своих суггестивных лабиринтов камни древних коллизеев. Сработанных еще рабами Рима.

Но содержание этих руин, склеенных (переклеенных) оригинальным способом, сугубо актуально. И не от того, что их читает современный читатель, — сама пластика их и способ существования убедительно свежи. Незаветрены. Хотя бы потому что отвечают на незадаанный вопрос о возможностях выживания сегодняшнего интеллектуала и интеллигента в тьмутараканной провинности.

Особенно теперь, когда вся Россия — наш ед провинция, запущенная в открытый космос тотального бесчувствия. Даже если зацепился в Москве. В столице, кстати, этой космической пограничности и бесстыдной, оголтелой провинциальности в разы больше. Там же она и нахрапистее. Гораздо наглее.

твой бог — гипербола, излишек,  
огонь на страшной высоте.  
что он умеет, что он слышит,  
распят на крошечном кресте?  
он ждёт и помнит, спит и видит  
и мёртв, пока ты не умрёшь.  
но сам к тебе со светом выйдет —  
не отвернёшься, не соврёшь.  
и станет жутко до прожилок,  
светло, как не было во сне,  
у очевидцев шестикрылых,  
сжигающих твоё досье.

Ярцев современен даже не тематически или стилистически, но пониманием, что нет модности (модности, актуальности) одной на всех, но возможны множества параллельных передовых. И, наконец, что современность, вообще-то, — то, чего нет. То, что всегда ускользает.

Когда рифмованные катрены чередуются с верлибрами и белыми стихами, создавая перепады и ощущение разнообразия, это уже никого не удивляет. Интересней запустить во внутренний kaleidoscope вирус чужеродных приемов и манер. Нечто вроде колеса обозрения, делающего функциональными сугубо прикладные материи, вроде личного роста и гамбургского счета.

*Челябинск*

Сергей Ивкин

## Заочные объятия

Человек, получивший премию имени Павла Бажова, с одной стороны, воспринимается мифотворцем, а с другой — почвенником-реалистом. Как ни абсурдно, Алексей Остудин умудряется эти стратегии соединять, работая в жанре, называемом сейчас «постиронией»: внешне игровой текст на деле поднимает актуальные и болезненные вопросы, комедия и трагедия представлены в нём в равных долях. Но комического эффекта Остудин сознательно не ищет: ему интересны сами возможности соединения слов, когда их шлейфы и клише образуют новые устойчивые связи, поэтичное для Остудина — это удивительное. И чем тяжелее связать понятия вместе, тем больший азарт он испытывает, и заражает им читателя.

Поньше собираются вещей Олег —  
поэтому всюду разбросаны вещи.  
(*Тихий ужас*)

по полной оторвался, как рукав,  
а счастья нет — но есть покой и «volvo».  
(*Ностальгия*)

поэтому в России кекса нет,  
да и в Европе с выпечкой неважно.  
(*Кардиобалет*)

И читатель отвечает взаимностью. С щенячьей радостью я наблюдал, как за накрытым столом мои друзья передавали книгу Остудина, делясь поразившими строчками. Причём не читали вслух, как обычно происходит со стихами, а именно показывали, оставляя собеседника со строками один на один. И тогда я понял, какие ощущения поэзия Алексея Остудина вызывает у меня. В

---

*Алексей Остудин. Нишенка на торте. — М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2021. — 228 с.*

одном сборнике средневековой китайской поэзии (интернет не позволяет найти точную цитату) я встретил стихотворение примерно такого содержания: учите стихи наизусть, чтобы было о чём говорить с друзьями при полной луне на открытой веранде с чашами вина в руках. Именно так я себя и чувствую, открывая эту книгу: внутри многоголосого дружеского трёпа.

Идёт троллейбус в чеховском пенсне —  
болтается шнурок на остановках.  
(*Первый снег*)

ты ещё заживёшь, словно рана,  
чтоб не плакали ивы и денежки.  
(*Верхом на ведре*)

я сегодня тоже малость пьяндекс —  
как объехать пробки не найду.  
(*От винта*)

Исследуя возможности языка, проверяя на прочность его границы, Алексей Остудин совершенно не держит литературную дистанцию от обыденного разговора. Его стихи пересыпаны именами, которые завтра никто не вспомнит без Гугла, но именно сейчас они оказываются в строке уместны, потому что точно датируют стихотворение в эпохе. Всё мелкое и мелочное Остудин за счёт опозывания превращает в словесную архитектуру. Красота — эфемерна, значит, ради неё нужно сохранять эфемерные детали, нечто незначительное, ускользающее.

где вода, надкрыльями хрустящая,  
из ведра взлетает, а не льётся.  
(*Коктебельское утро*)

поделить сладкий воздух не могут  
на базаре своём воробьи  
(*Прекрасная эпоха*)

у клумбы подрезаешь коготки,  
и георгины лечишь от ангины  
(Послесловие)

В таком ключе и лирический герой стихов, рассказчик — тоже почти призрак, герой анекдота. И сквозящая цитатность не размывает черты в зеркале, а, напротив, создаёт контрастный фон, похожий на стену в общаге, состоящую из журнальных вырезок и старых календарей.

чтобы от тоски не околеть,  
мне — пивка, а Пушкину — морошки.  
(Диета)

в рубашке, клетчатой, как плед,  
руками развода с порезами,  
никак не объяснит поэт народу  
суть своей поэзии  
(Кинолётка)

поэтому — серебряный твой Лёшка  
к последнему обеду дорогой  
(Эффект мотылька)

Закрываешь книгу, словно закрываешь дверь подъезда, выходя на холодную набережную. Голова ещё полна обрывками шуток, сердце сжимается от нежности к этим людям, но ждут дом, работа завтра с утра, всевозможные обязательства. И пока ещё пару десятков минут ты принадлежишь себе, ты идёшь и повторяешь любимое, пережитое.

врёт напрапалую полиграф,  
за грехи отцов автоответчик.  
(Не пахай дудом)

хватило б вербы в собственные силы,  
метаться и аукаться позднью  
(Мультик)

и в каждой глазнице свернулась змея,  
не тронешь её — не ужалит.  
(Как ныне)

И тебе тепло от этих стихов. Именно они являются твоим сегодняшним спиртом. И ты поднимаешь глаза к небу и просишь: «Господи, дай сил и здоровья моему виноделу».

Даниил Чкония

## «Пушкинский русский человек»

Трудно писать о творчестве поэта Владимира Мощенко, отказывая себе в желании привести цитаты из стихотворения Александра Межирова: «А у Мощенко шахматный ум...» В прошлом я уже цитировал эти строки, как и многие другие рецензенты. Легко найти их в интернете. Межиров прозорливо определил главное качество в характере человека и поэта Владимира Мощенко, который смолоду остро жаждал независимости и дорожил своей свободой.

Владимир Мощенко. Старый фонарь. — М.: Изд-во «Перо», 2021. — 152 с.

В 1959 году Межиров познакомил с Мощенко Евгения Евтушенко. «Этот интеллектуальный незнакомец, — описывал своё первое впечатление Евтушенко, — ошеломляюще предстал передо мной в погонах. Никак я не мог осознать, что под погонями одного человека может соединиться столько благоговейностей — к любви, к поэзии, к музыке, к шахматам, к Грузии, к Венгрии, к христианству и, что очень важно, к человеческим дружба́м. Ведь чем-чем, а стихами не обманешь. Ну, матушка Россия, чем ещё ты меня будешь удивлять?! Может быть, первый раз я увидел воистину пушкинского русского человека, способного

соединить в душе разнообразие стольких одновременных влюбленностей, хотя многих моих современников и на одну-то влюбленность в кого-нибудь или хотя бы во что-нибудь не хватало».

Издатель «Старого фонаря» на обложках и страницах книги щедрой рукой разбросал отрывки из отзывов друзей Мозенко — здесь все званые: Александр Межиров, Евгений Евтушенко, Александр Ревич, Евгений Рейн. Критик, эссеист, путешественник Эмиль Сокольский — автор основного предисловия к книге Владимира Мозенко. А сколько ещё известных имён в списке тех, кто состоял в дружбе с поэтом: Инна Лиснянская, Семён Липкин, Василий Аксёнов, Булат Окуджава...

Мозенко — поэт, чья стихотворная речь привлекает к себе внимание глубиной поэтической мысли, ненатужной интонационной раскованностью, точностью словоупотребления, музыкальностью. «Пространство вдруг до звука сжалось» — и ты остаешься с ним наедине. Интересно наблюдать за тем, как звук завоёвывает пространство свободы, не отрываясь от содержания стихотворения, укрепляя поэтическую мысль:

И в слове молния осталась.  
Как в той обугленной сосне.

Мозенко никогда не форсирует голос. Не только в стихах, но, по-видимому, и в жизненных ситуациях. Он доверяет читателю. Стих его — следующий классической традиции, ровный, плотный, строгий — не терпит неряшливости. Автор и сам такой. Будучи в чине полковника, когда понял, что чего-то не приемлет, не стал дожидаться пенсии, сохранив свою свободу и независимость. Эти два близких понятия определяют его стиль поведения — и создают образ и характер его стихотворной речи, который можно определить как *достоинство личности*.

Образы, которые возникают в стихотворной речи Мозенко, могут содержать в себе противоположные смыслы одновременно, они раскатываются, словно ударяющиеся друг о друга шары, чтобы обрести силу распада, но по немыслимой траектории обретают своё единство, рождая нежданно новое содержание. Например, в стихотворении «Снег в ночи» поэт создаёт картины снегопада, наполняя их

противоречивыми образами и придавая снегу человеческий характер:

Благословляя мой ночлег,  
И всё же, нелюдим,  
Почти шептал он: «Я — не снег.  
Мне нужен псевдоним».

Шёл снег — не то что снеговей.  
И видел я в окно  
Его — принявшим вид церковей,  
Которых нет давно.

Он был не снег. Он был снежок.  
И, хоть сереброкрыл,  
Он красоту вернуть не мог,  
Зато уродство скрыл.

Звукопись пронизывает текст, и часто оказывается, что соседние строфы могут быть совершенно по-разному инструментованы в зависимости от содержания. Ничего удивительного для поклонников его творчества в этом нет. Мозенко — блестящий знаток джаза, много и самобытно о нем писавший, — пропитан музыкой. При этом в его стихах всегда присутствует некая недоговоренность, развитие поэтической темы неожиданно, возникает ощущение нечаянности высказывания.

Поэтика Мозенко лишена пафосности. Но есть одна поэтическая тема, в которой у автора возникает приподнятость интонации. Это тема Грузии, где он служил в молодости офицером и куда постоянно навещался позже. В его стихах эта тема приобретает очень личное звучание. Грузию он понимает и любит. И объединяет грузинскую тему с лирической любовной:

Я поведу тебя туда, где горы.  
Доверься мне. Порадовать смогу.  
Здесь чистота. Вершины здесь не голы —  
Они добры к тебе и все в снегу.

Вот где поймёшь, что мы с тобой едины,  
У нас запретно слово «далеко».  
И знаешь — что? Пойдём смотреть картины  
Несчастливого, великого Нико.

Эта приподнятость интонации ощущается постоянно и лучше любых рассуждений демонстрирует чувства поэта, связанные с его человеческими дружбами и любовью к грузинским братьям по поэзии. А ещё его стихи говорят о чувстве ответственности перед лицом этой дружбы:

Мог бы я превратиться в Иуду.  
Разве память моя коротка?  
Неужели я завтра забуду  
Этих горцев и доблесть клинка?  
Лист осенний слетит, как листовка,  
Где изложена смута моя.  
Плоскоклювая птичья головка.  
Латальной атаки струя.

Владимир Мощенко — поэт, ни на кого не похожий, идущий своим путём творческой свободы и независимости, — по-прежнему равнодушен, изобретателен, внимателен к деталям, держит ноту. Он сохраняет свежесть и непредсказуемость художнического мировосприятия и уверенно торит творческий путь на подступах к своему 90-летию.

*Дмитрий Артис*

## Удобное чтение, или Путеводитель

Презентация книги Анны Маркиной «Осветление» («...про возвращение к себе») проходила в небольшой кафешке на Никитском бульваре. Я опаздывал, что мне не свойственно, поэтому бежал со всех ног, смахивая рукавом дождевые капли с кончика носа. Думал уже остановиться, отдышаться, развернуться и ехать домой. Лучше совсем не приходиться, чем так предательски опаздывать. На руку было и то, что за пару дней до этого рассказывал Анне о своей занятости, извиняясь, что приехать на презентацию скорее всего не смогу. С другой стороны — ехать-ехать, а у самых дверей развернуться, чтобы даже не мелькнуть перед глазами, казалось дикостью, да и желание хоть чем-то удивить — подстёгивало: дескать, сказал, что не приду, а сам такой улыбочивый нарисуюсь во всей своей красе. Такого не сотрешь.

Опоздание вышло эффектным. Виновница торжества была так обескуражена, что подписала книгу с оборотной стороны да еще и вверх ногами. Долго вертела ее в руках, не зная, как выйти из неловкой ситуации, а потом решительно встряхнула ручку, открыла

титульный лист, вывела небрежным почерком «см. туда» и подрисовала стрелочку в направлении следующей страницы. Теперь, чтобы дойти до дарственной надписи, следовало прочесть книгу целиком. Что я и сделал — куда деваться.

Авторские книги приятно листать, они всегда лучше тех, кто их читает. Нет заштампованности серийных сборников. Всё делается с любовью, будто в единственном экземпляре, первый и последний раз, как говорится, на века (руководитель проекта Евгения Баранова).

Анна Маркина выступает не только в роли автора текстов. Дочитав книгу, в выходных данных обязательно обнаружует имя напротив слов «вёрстка» и «дизайн обложки». Как не вспомнить поговорку: и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Во оформлении огромное количество черно-белых фотографий (Вячеслав Ковалевич, Андрей Гришаев, Саша Грухина, Сати Овакимян, Светлана Хромова, Людмила Калягина), делающих акценты на необходимых для понимания книги стихотворениях. Всё продумано, вплоть до аннотации, в которой объясняется, как правильно читать разделы (их пять). Кажется,

сделано всё для удобства читателя. Можно расслабиться, отключить голову и уходить в миры Анны Маркиной чистым аки младенец, не обременённым задачей обнаружить потаённые смыслы. Впрочем, человек-вечно-думающий также найдет для себя много чего интересного.

Первый, самый большой, раздел под названием «*Трещины*» — об одиночестве, как подсказывает упомянутая аннотация. Если исходить из построения книги: от темного к светлому, то получается, что для автора одиночество — это и есть тьма-тьмуша, из которой необходимо выбраться, чтобы «вернуться к себе».

Одиночество сродни наркотику, и подсевший на него рискует не только физическим самочувствием, но и здравым рассудком. Чтобы хоть как-то пригасить угнетающее одиночество, автор (хорошо, пусть будет «лирическая героиня») начинает разговаривать с собой, с Богом.

что холодеешь анечка  
разве тебе темно  
выпек господь буханочку  
перемолов зерно  
(...)  
людям принёс и светится  
отдал но знал же ведь  
что предстоит ей в хлебнице  
высохнуть зачерстветь

В двенадцати стихотворениях этого раздела упомянуты все времена года. Всё смешивается: после зимы видим осень, а после осени — лето. Автор будто расширяет временные границы и говорит о том, что одиночество длится довольно долго: несколько лет. Осознанное одиночество. Может быть, даже с того момента, когда героиня стихотворения «Гирлянда», не знаю, шутки ради или просто так вышло (мотив неясен), будучи ребенком, повесила на елку гирлянду, которая в нужный момент, когда дети вместе с Дедом Морозом закричали: «Гори, гори!» — не загорелась, волшебства не произошло. Детская вина незакрытым гештальтом преследует всю жизнь. Оттого финальные строчки звучат, как формула, которая раскрывает причину всех (вообще всех) бед:

А это ты повесила гирлянду,  
которая сейчас не загорится.

Но проходит (или приходит?) время, и гирлянда всё-таки загорается. Гирлянда любви, пусть «вместо солнца», но все же...

Дотянись, дотянись до прощения...

Второй раздел — «*Вместо солнца*» — вроде о любви, но скорее о душевных метаниях. Власть одиночества еще сильна, не так-то просто избавиться от неё. Героиня Маркиной не воспринимает «вызванные» в себе чувства как полное очищение от тьмы-тьмушей. Всего лишь первая попытка ухватиться за... хоть что-то, на первый взгляд показавшееся спасительной соломинкой. Оттого любовь сравнивается то с призраком, то с непосильной ношей, которую приходится тащить на себе («*Баба правит на возу...*») опять же в одиночку. Объект девичьего внимания больше напоминает сломанную игрушку или даже изношенную — с чужого плеча — одежду («*Всяк мужик сейчас изношен...*»), дескать, у всех мужики слегка потрепанные, так почему мой должен быть «новеньким»? Такая вот обречённая любовь получается.

Как разрешение возникшей ситуации появляется разговор с классиками литературы через финальное в разделе интертекстуальное стихотворение «ЖД». На презентации «Осветления», которую вела Евгения Баранова, публику просили распознать отсылки к упомянутым в нём литературным произведениям.

— Некрасов, Толстой, Венечка Ерофеев, Радищев, Чехов... — кричали с мест раскрасневшиеся от уютной жары и крафтового пива посетители кафешки на Никитском. Евгения награждала правильно назвавших конфетами. Мне тоже одна досталась. Последняя. Подхватим игру? Угадайте, чье имя и какое произведение мне удалось вспомнить, если в стихотворении прозвучало словосочетание «стальная конница».

Третий раздел — «*По жёрдочке*» — посвящен семье, как снова подсказывает аннотация, больше похожая на путеводитель по туннелю, в конце которого обещают зажечь свет.

потому что твой взгляд обращённый вперёд  
белоснежную правду ещё узнаёт  
в облаках и цветенье черешен

Семья в привычном ее понимании мелькает лишь в трогательном стихотворении «Маша и медведь», где на мотивах общеизвестной сказки строится рассказ о взаимоотношениях между мужем (медведь) и женой (Маша). К слову сказать, я насчитал с десяток русских сказок, на которые то и дело намекает автор в своих произведениях. Сильны традиции, память предков. Но вернёмся к нашему «медведю»:

Не стерпев, она сбегает  
к матушке (через дорогу).  
Он приходит с пирогами  
возвращать её в берлогу.

Говорит, что не погасло,  
не потух огонь зажжённый.  
— Веришь, Маша? Будет сказка.  
— Как не верить, медвежонок.

Но я бы не сказал, что фольклор (в частности, народные сказки), является основой стихотворений Анны Маркиной. Многие тексты похожи на разговор с классиками литературы, завязанный в последнем стихотворении предыдущего раздела. Здесь начинаешь понимать, с чем и с кем в действительности ассоциируется у Маркиной слово «семья». Надо отдать ей должное: это был первый раз, когда постмодернистские приёмы не раздражали меня, наоборот, классические тексты органично вплетались в стихи, будто изначально писались исключительно для этого. Видимо, потому что игра, искренность, чистота строчек затмевали обычное в таких случаях желание авторов блеснуть эрудицией. Кому нужна чужая эрудиция, когда своей девать некуда?

«От и до» — название четвёртого раздела отсылает нас к советской песне «От Москвы до самых до окраин...» и будто намекает, что он будет посвящен нашей необъятной Родине. Возвращаюсь к аннотации, чтобы проверить предчувствия, — и точно, не обманулся. В «путеводителе» написано, что этот раздел посвящен «стране», но... Если *семья* для Анны

Маркиной — это герои книг, то *страна* — близкая родня, родители. Именно здесь, в этом разделе я увидел своё любимое пронзительное стихотворение Анны Маркиной об отце. «Чужой»:

Октябрь падал, будто подождённый.  
И на его крыле у МФЦ  
Я встретила с подобием Чужого.  
Речь об отце.

Он был заточен, словно ножик острый,  
Под стычки: там поранить, тут пролезть.  
Нас разделял бескислородный космос  
уже лет шесть.  
<...>

Луна не понимает сути люстры.  
Как за щитом, скрываются вдвоём  
За тишиной.  
— У нас проблемы, Хьюстон,  
Приём, приём.  
<...>

Один, среди железа и безмолвия,  
Набрав с собой припасов боевых,  
Отец всё отдаляется за молнии  
лет световых.

Но слышу через ночь десятым чувством,  
Что всё же, пыл утратив боевой,  
Чужой передает:  
— Вас понял, Хьюстон.  
Лечу домой.

Завершает книгу раздел «Музыка». Теперь уже свет в конце туннеля отчётливо виден. Можно протянуть руку и потрогать его, рассматривая со всех сторон, как рассматривают неожиданно пришедшее на ум точное (нужное) слово к недописанному стихотворению.

И музыка дорогу прорезает,  
слепая.

Так я и добрался до перевернутой «вверх ногами» дарственной надписи в конце книги. Прочитал, покраснел: «А что? Не зря бежал под дождем. Оно того стоило!..»

*Ольга Балла*

## УЗЛЫ И НИТИ

**Александр СКИДАН. Лит.ра: Избранные фб-записи (2013—2020). — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 232 с.: ил.**

То, что, по словам самого автора, возникло «случайно, можно сказать, благодаря курьёзу» (в ноябре 2015-го аккаунт Александра Скидана в фейсбуке оказался, как там это время от времени практикуется, заблокирован из-за комментариев под каким-то, совершенно невинным, по авторскому разумению, высказыванием), — обернулось далеко идущими последствиями. Оставшись, пусть и всего на несколько дней, без привычной подручной записной книжки, которой верно служила ему социальная сеть, автор пришёл к мысли, что хорошо бы впредь сохранять помещаемое в фейсбук по крайней мере в вордовском файле, пока оно не пропало окончательно. Собранные же вместе, все эти записи, как будто разрозненные, ситуативные и черновые, получили возможность быть увиденными как целое — и не замедлили обнаружить новое качество.

Тут самое время обратить внимание на то, кто таков автор, — если вдруг читатель этого ещё не знает (впрочем, если не знает, тем даже интереснее: пусть текст говорит сам за себя; этот текст как раз из породы тех, которые активно помогают воссоздавать свои контексты, поскольку только и делают, что указывают на них). Александр Скидан — поэт, прозаик, эссеист, литературный критик и литературный редактор — заведующий отделом в толстом литературном журнале, переводчик с английского. Здесь он оборачивает к читателю все эти свои лица сразу, в том числе и переводческое: вообще-то стихи и переводы из составляемой книги он большею частью убирал, но некоторые из них оставил: «относительно свежие и ещё не зарубцевавшиеся, как, например, несколько переводов из Майкла Палмера», комментарии к чужим переводам, кстати, тоже. Среди этих лиц на равных правах присутствует и лицо частного мыслящего человека, который, высказываясь в фейсбуке, приобретает тем самым — не теряя своей частности — ещё и облик публичного интеллектуала. Автор более десятка поэтических, прозаических, эссеистических книг и вообще человек искусства с натренированным эстетическим восприятием, он сразу же почувствовал, что написанное им в фейсбуке за семь лет — именно книга: не вопреки, но благодаря своей разнородности оно складывается в цельное, объёмное и направленное высказывание. «Теоретик и поэт в одном лице», как некогда высказался о Скидане Михаил Ямпольский, в этом собрании пёстрых глав оказывается одновременно хроникёром и аналитиком, практиком и теоретиком самого себя и своего времени.

Аннотация к книге дразнит читательское воображение обещанием «жанрового эксперимента». Впрочем, в жанровом отношении как таковом большие открытия нас



тут не ждут, напротив того, сплошная радость узнавания (особенно для ценителя промежуточных текстов со свойственным им обилием возможностей). Тут в полной мере осуществляется старая добрая поэтика черновика с его многовариантностью и отказом от окончательности, классического дневника (иногда и сиюминутника) с его спонтанностью, ситуативностью, разомкнутостью, типичной записной книжки с её заготовками впрок, запасами смыслового и образного сырья разной степени обработанности, газпаровских записей-и-выписок, которые сами себе жанр. С этим жанром у записей Скидана очень много общего — прежде всего то, что о волнующем его ум автор часто высказывается не собственными словами, а искусно выбранными цитатами из читаемого и вспоминающегося, краткими комментариями к книгам и фильмам, — и они не уводят в сторону, но, напротив, ставят актуальное в большие исторические контексты.

«Экспромты, замечания “на полях”, далековатые сближения, моментальные снимки», «примечания, сноски, путевые и черновые наброски, экскурсии и мемории». Словом, всё, что, по справедливому утверждению той же аннотации, традиционно «считается периферией литературного творчества» — и о чём давно уже очевидно, что на самом деле это никакая не периферия его, но, напротив, самая сердцевина, в которой литературное творчество возникает и, пользуясь её ресурсами, растёт в разные стороны. Это ствольные его клетки, способные развиться и в роман, и в стихотворение, и в эссе, и в критическую статью, и в теоретический трактат — эстетический, литературоведческий, политический, и в физиологический очерк о данном автору здесь и сейчас в ощущениях городе (ну, например, о Санкт-Петербурге), о его пространствах, его людях, и в историко-культурный комментарий к текущим историческим событиям, и в прямое публицистическое высказывание о них (но никогда не ограничивающееся только происходящим здесь и сейчас. Сразу — в большой контекст, хоть отдельным беглым замечанием. И непременно — с некоторой дистанции, необходимой для аналитика, без полной — ослепляющей — вовлечённости).

Вот, например, март 2014-го, одиннадцатое число, самое начало исторического разлома: «Российская власть считает произошедшее в Киеве государственным переворотом и не признаёт новое украинское правительство. Между тем она сама возникла в результате того, что можно назвать государственным переворотом, — в августе 91-го народ в столице вышел на улицы и отказался подчиняться ГКЧП, Ельцин сместил Горбачёва, упразднил СССР и в 93-м году принял новую Конституцию. Легитимность нынешней российской власти — в этом учреждающем, растянутом во времени революционном — и далеко не бескровном (если вспомнить тот же 93-й год и последовавшую затем Чеченскую кампанию) — событии. Сейчас структура этого события (а не только травма распада СССР) “отыгрывается” в отношениях с Украиной.

R.S. “Отыгрывание” (нем. *Agieren*, англ. *acting out*). По Фрейдю, ситуация, при которой субъект, находящийся во власти своих желаний и бессознательных фантазмов, переживает их в данный момент тем более сильно и живо, что он не осознаёт их источника и повторяемости”. (Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. “Словарь по психоанализу”).

“Повторяемость” здесь ключевое слово».

Даже в том, что обжигает глаза, он видит структуры.

Тогда же, через четыре дня: «“К критике насилия” (1921) Беньямин написал в 27 лет. Но интересно другое. Читал ли кто-нибудь эту работу в констелляции с “Большевизмом как моральной проблемой” (1918) и “Тактикой и этикой” (1919) Г.Лукача?» И спустя одиннадцать дней: «О Вайде, его фильме “Катынь”. Возможно,

это не лучший его фильм (в других обстоятельствах я бы предпочёл “Пепел” или “Всё на продажу”), но сейчас “Катынь” — потому что камера там на стороне невозможной скорби, невозможной по определению, как если бы призрак возопил: где твой брат, Каин?»

То есть для всего, о чём он говорит, Скидан оставляет и указывает возможности и направления их теоретического осмысления и этического прочувствования. Понимающие — поймут.

Ростки всех перечисленных типов высказывания, в том числе вполне уже окрепшие, у Скидана прослеживаются очень внятно. Он даёт им подрасти, но в особенно буйный и самоценный рост не пускает, оставляя их в волнующем статусе возможности. Взятые же в целом, все эти по видимости фрагментарные записи оказываются узелками и нитями одной ткани. (Тем более, что автор над книгой работал — убирая, помимо стихов и переводов, убранных, по моему читательскому разумению, зря, — совсем уж случайное и незначительное, чего в социальных сетях тоже бывает довольно. «Прорежены, — говорит он в предисловии, — в первую очередь сугубо утилитарные вещи, “голые” анонсы и ссылки на мероприятия, публикации, выступления, фильмы и т.п., а также отдельные ситуативные записи, вне конкретного контекста, не поддающиеся восстановлению, теряющие смысл». Он оставил такую ситуативность, которая действительно указывает за собственные пределы.)

Куда интереснее, следовательно, что это такое не в жанровом, а именно в содержательном отношении.

В содержательном же отношении получившаяся книга — хроника последних семи лет российской жизни в её развитии, от предвоенного, безмятежного ещё 2013-го до первого ковидного 2020-го, представленная как хроника по преимуществу внутренней (скажем точнее: внешне-внутренней; происходящей на границе внешнего и внутреннего) жизни умного, сложного, критичного даже в своей пристрастности её наблюдателя и аналитика. В целом выходит история русского интеллигента в чрезвычайных обстоятельствах (обстоятельствами чрезвычайными имеют все основания быть сочтёнными по меньшей мере шесть лет из этих семи). Фрагментарность же в этом смысле работает на точность складывающейся в результате картины, поскольку представляет разные уровни этой истории: от повседневных событий, впечатлений от фильмов и спектаклей (не говоря уже о грандиозных и трагических спектаклях политических событий), выписок из читаемого и сновидений до культурологических и историсофских суждений. Реакции автора на исторические и бытовые обстоятельства показывают внешнюю сторону этой истории, его замечания о попутных чтениях, цитаты и вообще фиксация мыслей, будто бы не связанных напрямую с происходящим, — её скрытые подпочвенные слои. Одновременно — проживание происходящего, его осмысление и обсуждение с современниками как одна из характерных для времени форм смысловой обработки: записи в фейсбуке поневоле диалогичны, поскольку, даже будучи самыми что ни на есть черновыми, пишутся для прочтения и открыты комментариам.

Дневник, особенно электронный, подобно Творцу миров, сохраняет всё, вплоть до комментов к статусам дневникписца. И автор, прилежно копируя наиболее яркие произведения комментаторского искусства, не отказывает дневнику в этом удовольствии, а комментаторам — в возможности показать себя во всей красе и остаться таковыми в памяти потомков. Тут, я бы сказала, автор выступает как этнограф-практик, собирающий для грядущих исследователей современного ему мировосприятия сочный материал. «Если вы ещё не забанили этого персонажа, — пишет он 13 марта того же 2014-го, в контексте вы представляете себе чего, — то рискуете узнать много интересного про постсоветское эстетическое бессознательное. \*\*\* (общий друг — \*\*\*)

прокомментировал ваш статус. \*\*\* написали! : “Александр, так вы работаете на фашистскую гебню. И в этом вы только что сами публично признались...”» Ну и так далее, не очень хочется цитировать.

Имена (в фейсбучной их транскрипции) там называются полностью, но что в имени нам их? Куда важнее воздух времени — и вот он тут, даже обозначенный отдельными дуновениями, — в полном объёме.

Книга, собственно, именно об этом: о лично прожитом воздухе времени, о его составе.

Кстати, март 2014 года — единственное на всю книгу время, когда он высказывался об исторической поверхности существования совсем прямо. Имея характерную для автора структуру, по существу процитированные выше высказывания для него почти исключение. Далее повествователь наращивает внутреннюю автономию от происходящего, уходя по видимости в разговоры о литературе, искусстве, истории культуры и т. д. На самом деле воздух времени выговаривается Скиданом по преимуществу через множество косвенных — и тем более настойчивых, и тем более точных, потому что с разных ракурсов — указаний на него, особенно типичнейшим для автора образом: через фрагменты чужой речи, вращенные в собственную и расширяющие таким образом её внутренние перспективы.

«14 декабря 2018 г. Все помнят, конечно, притчу Кафки о вратах Закона, точнее, о привратнике и поселянине, который умирает, не решившись войти в единственно для него предназначенное игольное ушко. У Анны Зегерс в “Транзите” (1943) есть наоборотная версия: “Вы, может быть, слышали притчу про мертвеца? Мертвец этот ждал на том свете, чтобы господь решил его участь. Ждал год, десять лет, сто лет. Тогда он принялся умолять, чтобы решили наконец его судьбу. Он не мог больше выносить этого ожидания. Ему ответили: «Чего ты, собственно говоря, ждёшь, ты ведь уже давно в аду»”. Это о немецких-еврейских беженцах в Марселе, пытающихся получить транзитную визу в или через США, Мексику, Португалию, Уругвай и т.д., месяцами простаивающих в очередях в соответствующие консульства, пока идут облавы. И ещё одна версия того же самого, из “Центрального парка” Беньямина: “Сам факт, что всё «продолжается», и есть катастрофа. Катастрофа — это не то, что надвигается, а то, что совершается сейчас. Мысль Стриндберга: ад — не то, что нам предстоит, а вот эта здешняя жизнь”».

«...Практикуемый им коллажный принцип письма, — говорил когда-то о поэтической работе автора другой рецензент, Дмитрий Голышко-Вольфсон, — исключает присутствие авторского лирического голоса». Так вот, в этом тоже своего рода коллаже — коллаже из самого себя и своих ближайших окрестностей сколько-то-летней давности — авторский голос как раз очень присутствует. И даже почти лирический. И даже не почти.

И это не потому, что Скидан здесь, против обыкновения, откровенничает или исповедуется. В целом нет, хотя о личном, и о пронзительно-личном, здесь тоже есть: «22 декабря 2017 г. Мама 1937 года рождения. Сегодня ей исполнилось бы 80... В начале 1990-х она оформляла документы на “блокадницу” и дочь “незаконно репрессированного” Александра Павловича Маркузе (1897—1959), и её пригласили на Литейный, 4. Смотреть дело отца она отказалась, как объяснила мне позднее, потому что боялась увидеть, кто на него донёс (это мог быть кто-то из близких знакомых или сослуживцев). Но ещё больше боялась увидеть, что он кого-то назвал на допросах. Не знаю, как бы я повёл себя на её месте. Думаю, так же». Просто во всём, что бы он тут ни писал — включая цитаты из чужих текстов, — ясно видно его отношение к жизни, его занятая в отношении этой жизни позиция.

<sup>1</sup> Так, во множественном числе, в цитируемом тексте. — О.Г.

*Борис Минаев*

## ЭТОТ ГОД...

Прошедший год, видимо, будут вспоминать долго. Ну то есть — будут писать об «эпохе ковида» романы и рассказы, снимать фильмы и спектакли, уже сейчас, например, об антропологическом сдвиге человечества, о «философии в эпоху ковида» можно прочитать и услышать в замечательном подкасте Александра Гениса и Соломона Волкова: меняются привычки человечества, оно уходит в себя и становится недоверчивее. Будут вспоминать этот год, я думаю, со слезами на глазах и в то же время с чувством чего-то значительного и огромного — каким является в каждой человеческой судьбе пережитое испытание.

Я же отметил про себя странную раздвоенность: с одной стороны, некоторая культурная аскеза прочищает мозги, и ты понимаешь, без чего, в сущности, можно легко прожить, и суэта театральных премьер поначалу кажется шелухой, которую легко отбросить. А с другой стороны, как-то очень быстро становится понятно: без театральных впечатлений горизонт сужен, голова сдавлена, мир неполон.

Театр в эпоху ковида — это театр трансляций и видеозаписей, чему посвящен, например, британский мини-сериал «Постановка», смешной, иногда абсурдный, но вдруг клоунада прорывается неподдельным отчаянием. Сюжет прост: знаменитые актеры сидят по домам и вместе с режиссером репетируют пьесу. Видеокамера фиксирует все: кухонную посуду и фигуры домашних, которые пытаются не попасть в кадр, смешно пригибаясь, кружку для кофе и цветок в вазе, свет из окна и картинку на стене, рамки «телевизионного театра» раздвигаются и вбирают в себя весь интимный мир, все приватное существование, включая непрошенные слезы, ужас бытия и отвратительные выходки. Мне кажется, успех «Постановки» именно в этом: оказывается, сидя дома, мы не скрылись от экрана и сцены, а лишь расширили зону своей публичности.

Конечно, это некоторая метафора, и многие миллионы людей просто вынуждены безвестно сидеть дома, скрываться за закрытой дверью, опасаясь выйти на улицу, но тем не менее «новая прозрачность» настигает рано или поздно каждого.

О том, как театр расширяет свои рамки и за счет документального кино, и за счет бесконечных трансляций в интернете, я писал в первых трех номерах «Дружбы народов» за прошлый год («Кеды-2020», «Большой маленький Успенский», «Как-то иначе»).

...Еще одна особенность ковидного года в театре — любая премьера увеличивается «в весе». Становится событием, в которое мы вкладываем все новые смыслы, порой те, которые даже и не предполагались авторами. Такой, например, стала премьера «Горе от ума» в РАМТе («Чацкий навсегда» — «ДН», № 4) — о том, что Чацкий, диссидент и изгнанник, отщепенец и революционер, неожиданно вернувшийся в Москву, и тем ошарашивший ее, — эта тема будет звучать в России вечно. И вечно будет новой.

Одной из таких премьер, которые в иное время воспринимались бы совсем иначе, стала премьера в театре имени Моссовета.

Арбузовские «Жестокие игры» довольно редко встречаются на нынешних афишах, но новый художественный руководитель театра Евгений Марчелли именно с них начал свою эпоху в московском театре. Для меня текст «Жестоких игр» всегда являлся в каком-то смысле откровением — ведь Арбузову уже стукнуло семьдесят, когда «Игры» были поставлены. И он рискнул написать пьесу о поколении, ну скажем так, моих ровесников, ребят, чье совершеннолетие пришлось на конец 1970-х — самое плотное, самое густое время брежневщины — о поколении «дворников и сторожей», вынужденных беглецов от реальной советской жизни, которые скрывались от нее в музыке, книгах, субкультурах, в хипповских коммунах и подпольных кружках.

Шел я на эту премьеру с некоторым трепетом — как на встречу с девушкой, в которую был влюблен в юности, тридцать или сорок лет назад.

Но встреча не разочаровала.

Хотя в тексте проступили те черты, которых я не замечал раньше: меньше, например, стало здоровой иронии по отношению к героям (и самоиронии) — а она помогала их понять. И больше стало героического пафоса: героями арбузовских «Игр» как-то вдруг (по крайней мере — «вдруг» для меня) оказались не только московские неприкаянные одиночки, но и тюменские геологи, разведывающие богатства недр, и героический врач, гибнущий во время выполнения служебного долга.

... Это всегда был довольно тонкий текст Арбузова — смыслы скользили в нем по молодому льду, с трудом порой удерживая равновесие. Эти «молодые гении» и их как бы случайные спутницы (мне всегда почему-то казалось, что квартира эта находится на Тверском бульваре, и я довольно ясно себе представлял, где именно), с этими перепадами от пафоса к отчаянию, от веры к безнадеге, «новое потерянное поколение» — я всегда их узнавал, принимал за своих, их эскапизм был мне понятен и близок. Однако то и дело в тексте проступала назидательная интонация, пусть и далекая от стариковского брюзжания, но вполне внятная, — и мне хотелось защитить героев от автора.

Однако уж больно яркими и живыми он их тогда создал — и сейчас, спустя почти пятьдесят лет после премьеры, я могу это подтвердить.

Единственное, что изменилось: теперь не совсем понятно, куда же этих «неприкаянных» посылают автор и режиссер, в какие такие сибирские дали, к какой такой «школе жизни». Если образ героического врача как раз очень актуален в этот ковидный год (хотя и перестал быть литературно красив, мы слишком много знаем об этой теме), то в Тюменском крае недр все уже разведаны, и ехать туда незачем. Нет никакой внятной альтернативы романтическому самокопанию и элинджеровскому нигилизму.

Все герои Арбузова — как будто шагнувшие из той застойной эпохи, когда театры юного зрителя вдруг становятся самыми интересными и актуальными, а трудные подростки на их сцене — самыми «авторитетными» носителями морального закона (см. «ДН», № 11), — они и сегодня волнуют нас, и сегодня отлично существуют на сцене в пьесе про очередное «потерянное поколение». А то, что впереди нет никакой исторической альтернативы (по крайней мере, так видится сегодняшнему разуверившемуся зрителю) — это уже не вина театра.

Я уже упомянул, что Евгений Марчелли возглавил в минувшем сезоне театр имени Моссовета, и у театра началась совсем новая жизнь — в истекшем году этот сюжет стал повторяющимся.

...Когда, например, ушел из жизни Пётр Фоменко, многим казалось, что его детище неминуемо погибнет, но этого отнюдь не произошло. Ученики, которых он

вырастил, прекрасно продолжают его дело. Потому, наверное, что это был театр Учителя — в первую очередь.

Когда ушла из жизни Галина Волчек и в «Современник» был назначен Виктор Рыжаков, многим казалось, что в труппе, где так много ярких, уж очень ярких индивидуальностей, неминуемо вспыхнет конфликт, что без ее авторитета театр расколется, как обычно это бывает, но оказалось: Галина Борисовна воспитала в актерах, таких разных, культ режиссера, уважение к художественному руководителю как осевой фигуре, без которой ничего не возможно, — и это продолжает работать и после нее. Репетируют, выпускают спектакли и верят, что результат рано или поздно придет.

Сергей Женовач, который покинул в ушедшем году МХТ, всегда казался мне фигурой очень значительной, очень яркой, но совершенно для этого театра не подходящей. Ученик Фоменко, мастер театра камерного и вдумчивого, медленного и прозрачного, — что он мог поделаться с этой клокочущей лавой индивидуальностей, каждой из которых нужен какой-то свой, особый театр? Да, МХТ всегда был таким — и для того, чтобы объединить этот «террариум единомышленников», нужно обладать либо каким-то уж очень громадным авторитетом (как Ефремов), либо научиться, как на музыкальном инструменте, играть на их мотивах и эмоциях, страстях и желаниях, как это делал в свое время Табаков. Я вообще не понимаю, у кого это может получиться снова. И жду от Константина Хабенского просто нечеловеческих подвигов.

Что касается другого МХАТа (бывшего доронинского, в который она, впрочем, вернулась в качестве почетного председателя), — тут коллектив застрял в бесконечной реновации, и хочется просто помолчать и не торопиться с выводами.

Снятия и назначения следуют одно за другим, что в общем объяснимо, уходит целое поколение главных режиссеров и худруков, и следующая за ними волна еще не совсем определилась, еще не ясен ее лейтмотив и главная нота. Ну вот, например, в минувшем году я писал о премьере в театре на Бронной (бывшей Малой Бронной, куда дели одно слово, я до сих пор понять не могу) — «Бэтмен против Брежнева» («ДН», № 6). Но о других премьерах этого коллектива пока не очень-то слышно, и не очень быстро складывается новый облик театра под руководством Константина Богомолова, что, с другой стороны, совершенно понятно, — ведь Константин Юрьевич очень много ставил в разных театрах как приглашенный режиссер (о чем речь еще впереди), но никогда не руководил целым театром как учреждением. Также мы с напряжением ждем новостей из Гоголь-центра, где после ухода Кирилла Серебренникова осталось много прекрасных спектаклей, и хочется понять, в какую сторону Гоголь-центр теперь повернет, или же все останется в целостности и полной сохранности, как было и при Алексее Аграновиче тоже.

«Реновированные» театры стали отдельным сюжетом года. Но стали, конечно, во многом из-за того, что другие сюжеты порой просто отсутствовали.

В ушедшем году не стало Резо Габриадзе. Ушла целая эпоха, закончился целый театральный мир, и я вспоминал его в статье «Куклы Резо Габриадзе, или Проблема снятия» («ДН», № 8). Но сейчас хочу сказать еще об одной, безвременной и неожиданной смерти, которая нас всех потрясла: и зрителей, и читателей, и просто друзей драматурга и прозаика Ксении Драгунской. Трудно представить себе мир без ее интонации, без ее голоса, без ее иронии, без ее наивной детской веры в человека. И без ее горького отчаяния, когда эта вера упиралась в нечто железное и глухое.

Для театра Ксюша сделала очень многое: на мой взгляд, ее «Ощущение бороды» — это был один из ключевых спектаклей эпохи 90-х — начала нулевых, когда из подвального, андеграундного искусства вдруг родилась целая школа, целое направление, по сути, новый театр, — и Ксения стояла у истоков этого явления. Она заставляла и учила театр, вместе со своими любимыми актерами и режиссерами,

говорить на этом новом языке — языке улицы, порой темном и невнятном, порой очень экзальтированным, на языке других непривычных образов, новых смыслов. Читки ее пьес превращались в спектакли, спектакли — в настоящие уроки прозрачной и чистой прозы, это был синтез жанров, и это было всегда новое и всегда неожиданное мастерство.

Она многое не успела, смерть застала ее практически на самом взлете, и это особенно горько, конечно.

Но то, что она успела сделать, — это уже очень много.

Ну и, наконец, в ушедшем году определились два якоря, два магнитных полюса, вокруг которых и дальше будут собираться сторонники и противники внутри театрального мира. Мне кажется, противостояние это будет только нарастать в дальнейшем, что вообще-то довольно благотворно для искусства: я говорю о спектаклях Дмитрия Крымова, с одной стороны, и Константина Богомолова, с другой. Невероятно плодотворные, мощные, они в последние годы окончательно стали лидерами в режиссуре, и теперь, как мне кажется, мы будем долго еще жить внутри их незримого и молчаливого противоборства, двух эстетик, двух философий, двух театров.

О спектакле Крымова «Все тут» в театре «Школа современной пьесы» я писал в июльском номере журнала, а вот о спектакле Богомолова «На всякого мудреца» в Театре наций хотел бы сказать несколько слов.

Это, как мне видится, довольно сложное произведение, хотя для многих комментаторов, критиков да и оглушительно хохочущих на премьере зрителей оказалось заманчивей счистить «кожуру», снять верхний слой и этим удовлетвориться, сделав вид, что под ним ничего нет.

А ведь там что-то есть...

Это что-то — порой обманчивое, ускользающее, пугающе тревожное, но оно выпирает из бесконечного потока шуток, гэгов, кривляния и нелепицы, карикатуры и ярмарочного балагана, и на него неожиданно натыкаешься, «ударяешься» об него, и это, наверное, наиболее привлекательная черта спектакля.

Богомолов постоянно посылает зрителю сигналы, подает ему знаки, подмигивает, и поскольку текст Островского им основательно переписан, да плюс еще вставлены «изуродованные» (как самоиронично гласит текст бегущей строки) куски других авторов: Достоевского, Чехова, Шекспира, получается такой квазитheater, «театр театрыч», то становится легко втыкать в эти монологи и реплики героев кучу сегодняшних реалий, издеваться над теми и над этими, пародировать тех и других. Это такая совершенно хаотичная среда, внешне напоминающая все что угодно — от вахтанговской «Принцессы Турандот» до КВНа и студенческой агитбригады, но только усиленная словно лазерной пушкой.

В этом потоке высучивания и высмеивания легче родиться чему-то другому: довольно страшному и довольно мучительному образу нынешнего времени.

Кого же высмеивает Богомолов в первую очередь? Ну, прежде всего, «старую московскую интеллигенцию» с ее бардовскими песнями, «хорошими лицами», демократической традицией, идеалистической книжной мифологией. Апофеоз высмеивания — сцена поминок, где собравшиеся старички и старухи хором поют (довольно пошлую, на мой вкус) песню Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собиравались», — ее Богомолов, видимо, считает опознавательным знаком явления, хотя и Окуджаве, и Веронике Долиной от него тоже достается.

Не случайно две главные женские роли в его спектакле играют мужчины, играют, надо сказать, совершенно прекрасно, и оттого высокое (высокие страсти, высокие слова и ценности) непременно становятся безумно смешными, «низкими», площадными, а все «низкое» вдруг приобретает характер высокой трагедии.

Вообще «высокое», в чем бы оно ни выразалось: в чувствах, песнях, идеях, именах, символах, — становится главной мишенью автора, как, впрочем, и сама идея «обесценивания», над ней Богомоллов тоже смеется, как и над любой идеей вообще. В мире не осталось идей, — как бы говорит он, это прошлый век.

Можно было бы подумать, что острие сатиры тут направлено против демократической русской традиции (этого следовало бы ожидать от автора знаменитого «манифеста», который в спектакле тоже, впрочем, общучивается), — но нет, все не так. Та, другая сторона «идейной борьбы»: слуги народа, чекисты и олигархи, лакированный патриотизм, «мерзкая роскошь» богатых салонов и отполированных офисов, — тоже довольно отвратительна.

«Никого не жалко, никого — ни тебя, ни меня, ни его», как пелось в одной песне, идею эту Богомоллов в спектакле «На всякого мудреца» выразил сильно, как, может быть, никто другой: не жалко и стоящего в одиночном пикете «протестанта», и того, кто за ним приходит с наручниками, не жалко жен и мужей, детей и родителей, карьеристов и интеллигентов, не жалко творцов и бездарей, не жалко и главного чекиста, с которым угодливо и льстиво советуются по ходу пьесы сам Богомоллов и дирижер Курентзис (еще один, пожалуй, даже главный символ «высокой пошлости»), его тоже не жалко. Хотя главный чекист и произносит страшно многозначительные монологи в духе «великого инквизитора», но все равно он человек мелкий и ничтожный.

Из глубины спектакля незримо выдвигается сам образ автора с застывшей ухмылкой на лице (впрочем, и сам он лично тут присутствует, когда дирижирует хором зрителей, приглашая их петь «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»), который ничему не верит, никого не любит, и всех то ли жалеет, то ли презирает.

Богомоллов как бы очерчивает круг, отгоняя неприятные ему, «старые», «ложные» вещи и явления, наподобие героя в «Вие», но что именно он охраняет в том круге, что там внутри, — остается не очень ясным. Мучительную, несложившуюся душу вечного подростка, перед которым, как у Достоевского, весь мир виноват? Возможно.

Впрочем, есть в спектакле одна сцена, довольно однозначная и ясная. В финале разыгрывается очередная пародия на «старую советскую культуру» — эпизод свидания «на зоне» героев рязановского фильма «Вокзал для двоих» и утренней переклички в лагере, и люди, сидящие в зале, вдруг начинают откликаться на свои фамилии, — вот тут холодок идет по коже.

...И думаешь: ну, значит, все-таки что-то ему дорого? Хотя бы вот эта идея личной свободы?

И то хлеб.



# Summary

## Vladimir LIM. Tsunami

This is a novel about the people at the end of the earth. In a godforsaken Pacific settlement there are doomed to the insular existence Russians, Ukrainians, Koreans arrived to Kamchatka in 1945 under the guise of Japanese and one Lithuanian. Many of them either have on their consciences some awful and shameful crime or feel the despair forcing them to run – from themselves, from society, from authorities. They form a hard, rigid, golden alloy of fates and characters. But what are human expectations worth in the face of blind Nature sweeping aside everything in its path? Thus the wave of the time has swept the great Soviet Union in the memory of which the novel is written.

## Poetry

The ungovernable flow of the time, eternity are the themes of the lyrics by Vladimir SALIMON – our regular author traditionally opening the January issue.

The poet passionately enamored of life Alexej OSTUDIN exhorts to fill with it every day of one's personal life not letting "our youth captured by decay" get cool.

Mariya BATOVA is debuting in "DN" with her collection of verse libre "Christmas Patchwork".

Anna VOROPAeva. "It's a communal, communal flat!"

"Do mentality and habits of the students change on arrival to China? More likely yes than no. China makes us freer". These notes by A. Voropaeva present vivid, full of interesting observations firsthand narrative about the ways of life and thinking, customs and cooperation of the students from many countries of the world gathered at the University of Foreign Languages of the Chinese city of Dalian.

According to its perennial tradition "DN" in its January issue sums up the previous literary year. This time we invited some literary critics to tell about something connected with literature one way or another – a book, a publication in a magazine, a project, a meeting with the readers – that was experienced by the author as a private event. The participants are: Konstantin MILCHIN, Evgenij ABDULLAEV, Alexander CHANTSEV, Natalya IVANOVA.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин [Лабиринт.ру](http://Лабиринт.ру) в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,  
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





## Читайте:

**Владимир Гандельсман.  
Роман «От фонаря»:**

*«Как вторила за "оттепельной" Ахматовой золотая молодежь, перевалив за тридцать к началу девяностых (мои герои на десяток лет старше), брежневские времена были вегетарианские. (Так, вероятно, и думал замученный тюрьмами в эти годы Анатолий Марченко.) Они отказывались от пафоса — любого: про- или антисоветского, — они хотели делать дело и предлагали свои интеллектуальные услуги нарождавшимся высоколобым изданиям. Буквально за углом их ждало ненавистное им сотрудничество с гламурными журналами и прельстительно увесистые гонорары от свободных и просвещенных олигархов, а к началу нулевых, за другим углом, — ясное понимание, что никаких независимых олигархов нет и, значит, понятно, кто твой работодатель. За третьим углом — честное отчаяние "на местах" или эмиграция из России одних, либо продажность и обыденно-повальное превращение золотой молодежи в позолоченную, а затем и золотушную буржуазию — других. Оставалось какое-то количество отчаянных храбрецов...»*